

ISBN 2686-7249

ВЕСТНИК РГГУ

Серия

«Литературоведение.
Языкознание. Культурология»

Научный журнал

RSUH BULLETIN

Series

“Literary Theory.
Linguistics. Cultural Studies”

Academic Journal

Основан в 1996 г.
Founded in 1996

8

2019

VESTNIK RGGU. Seriya "Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul'turologiya"
RSUH/RGGU BULLETIN. "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies" Series
Academic Journal

There are 10 issues of the journal a year.

Founder and Publisher – Russian State University for the Humanities (RSUH)

The Journal is included: in the Russian Science Citation Index; in the List of leading scientific journals and other editions for publishing PhD research findings.

Peer-reviewed publications fall within the following research area:

10.01.00 Literary Theory:

10.01.01 Russian literature

10.01.03 Foreign literature

10.01.08 Literary theory. Textology

10.01.09 Folkloristics

10.02.00 Linguistics:

10.02.14 Classical philology, Byzantine and Modern Greek Studies

10.02.01 Russian language

10.02.02 Languages of the Russian Federation

10.02.19 Theoretical linguistics

10.02.20 Historical-comparative, typological and contrastive linguistics

24.00.00 Cultural Studies:

24.00.01 Cultural history and theory

24.00.03 Museology, conservation and restoration of historical and cultural objects

GOALS OF THE JOURNAL: Presentation of the results of the latest researches in the field of philology, linguistics and cultural studies and oriental studies, which have an unquestionable theoretical and practical value and are promising for the development of research in these fields of knowledge.

Advancement of empirically oriented linguistic research and high-quality studies of Russian, languages of the Russian Federation, and languages of the world within a variety of theoretical frameworks and in comparative, historical and typological perspectives.

OBJECTIVES OF THE JOURNAL: implementation and development of expertise of scientific articles taking into account the dominance of modern interdisciplinary and integrated approaches;

presentation of the most significant achievements important for the development of science and capable of being introduced into the educational process as examples of correct scientific work; attraction of new authors, researchers, showing high theoretical culture and undeniable scientific achievements; strengthening the interaction of academic and university science; translation of scientific experience between generations and between institutions.

RSUH/RGGU BULLETIN. "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies" Series is registered by Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media. Certificate on registration: PI No. FS77-61883 of 25.05.2015

Changes were made to the record of media registration in connection with the name change, renaming of the founder, clarification of the subject – registration number FS77-74270 of 09.11.2018

Editorial staff office: 6, Miusskaya Sq., Moscow, 125993

e-mail: galazver@mail.ru

ВЕСТНИК РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология»

Научный журнал

Выходит 10 номеров печатной версии журнала в год.

Учредитель и издатель – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

10.01.00 Литературоведение:

10.01.01 Русская литература

10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)

10.01.08 Теория литературы. Текстология

10.01.09 Фольклористика

10.02.00 Языкознание:

10.02.14 Классическая филология, византийская и новогреческая филология

10.02.01 Русский язык

10.02.02 Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи)

10.02.19 Теория языка

10.02.20 Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание

24.00.00 Культурология:

24.00.01 Теория и история культуры

24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

ЦЕЛЬ ЖУРНАЛА: Представление результатов новейших исследований в области литературоведения, языкознания, культурологии и востоковедения, имеющих несомненное теоретическое и практическое значение и перспективных для развития исследований в этих областях знания.

Продвижение эмпирически-ориентированных исследований по русскому языку, языкам Российской Федерации и языкам мира в рамках разнообразных теоретических подходов и в сопоставительной, исторической и типологической перспективе.

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА: осуществление и развитие экспертизы научных статей с учетом господства современных междисциплинарных и комплексных подходов;

представление наиболее значимых достижений, важных для развития науки и способных быть внедренными в образовательный процесс как примеры правильной научной работы; привлечение новых авторов, исследователей, показывающих высокую теоретическую культуру и неоспоримые научные достижения;

усиление взаимодействия академической и университетской науки; трансляция научно-опыта между поколениями и между институтами.

Журнал принимает к публикации оригинальные статьи, комплексные исследования российских и зарубежных авторов, ранее не публиковавшиеся научные доклады.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-61883 от 25.05.2015 г. В запись о регистрации СМИ внесены изменения в связи с изменением названия, переименованием учредителя, уточнением тематики – регистрационный номер ПИ № ФС77-74270 от 09.11.2018 г.

Адрес редакции: 125993, Москва, Миусская пл., 6

Электронный адрес: galazver@mail.ru

© Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология», 2019

Учредитель и издатель
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Главный редактор

П.П. Шкаренков, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

Редакционная коллегия

Д.И. Антонов, кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

П.М. Аркадьев, кандидат филологических наук, Институт славяноведения РАН, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация (*заместитель главного редактора*)

О.Л. Ахунова, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

С.И. Баранова, доктор исторических наук, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Москва, Российская Федерация

Л.В. Беловинский, доктор исторических наук, профессор, Московский государственный институт культуры, Москва, Российская Федерация

Н.П. Гринцер, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

В.В. Лудкова, доктор искусствоведения, Государственный институт искусствознания, Москва, Российская Федерация

Ю.В. Доманский, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

А.В. Дыбо, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор, Институт языкознания РАН, Москва, Российская Федерация

И. Жетниковска, доктор филологических наук, Университет Николая Коперника, Торунь, Республика Польша

Г.И. Зверева, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация (*заместитель главного редактора*)

И.И. Исаев, кандидат филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

Г.И. Кабакова, доктор филологических наук, Университет Сорбонны, Париж, Французская Республика

Н.В. Капустин, доктор филологических наук, профессор, Ивановский государственный университет, Иваново, Российская Федерация

В.И. Киммельман, PhD, Берген, Королевство Норвегия

Д.Д. Клейтон, доктор филологических наук, Оттавский университет, Оттава, Канада

И.В. Кондаков, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

Г.Е. Крейдлин, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

Л.И. Куликов, кандидат филологических наук, Гентский университет, Гент, Королевство Бельгия

М.Н. Липовецкий, доктор филологических наук, профессор, Университет Колорадо, Болдер, Соединенные Штаты Америки

- Д.М. Магомедова*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- И.В. Морозова*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- В.Г. Мостовая*, кандидат филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- С.Ю. Неклюдов*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- В.И. Подлесская*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- О.И. Половинкина*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- Е.Ю. Протасова*, доктор педагогических наук, Хельсинкский университет, Хельсинки, Финляндская Республика
- Р.И. Розина*, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- Я. Садовский*, доктор исторических наук, Ягеллонский университет, Краков, Республика Польша
- А.Ю. Сорочан*, доктор филологических наук, доцент, Тверской государственный университет, Тверь, Российская Федерация
- Я.Г. Тестелец*, доктор филологических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- О.И. Тогоева*, доктор исторических наук, Институт всеобщей истории РАН, Москва, Российская Федерация
- В.И. Тюпа*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- А.А. Холиков*, доктор филологических наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Москва, Российская Федерация
- О.Б. Христофорова*, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- И.О. Шайтанов*, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация
- С.А. Яценко*, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Москва, Российская Федерация

Ответственный за выпуск: *Г.И. Зверева*, доктор исторических наук, профессор (РГГУ)

Founder and Publisher
Russian State University for the Humanities (RSUH)

Editor-in-chief

P.P. Shkarenkov, Dr. of Sci. (History), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

Editorial Board

D.I. Antonov, Cand. of Sci. (History), associate professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

P.M. Arkadiev, Cand. of Sci. (Philology), Institute of Slavic Studies RAS, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation (*deputy editor*)

O.L. Akhunova, Dr. of Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

S.I. Baranova, Dr. of Sci. (History), Moscow State Integrated Art and Historical Architectural and Natural Landscape Museum-Reserve, Moscow, Russian Federation

L.V. Belovinskiĭ, Dr. of Sci. (History), professor, Moscow State Art and Cultural University, Moscow, Russian Federation

V.V. Gudkova, Dr. of Sci. (Art Studies), State Institute for Art Studies, Moscow, Russian Federation

N.P. Grintser, Dr. of Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

Yu.V. Domanskiĭ, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

A.V. Dybo, RAS corr. memb., Dr. of Sci. (Philology), professor, RAS Institute of Linguistics, Moscow, Russian Federation

I. Rzepnikowska, Dr. of Sci. (Philology), Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

G.I. Zvereva, Dr. of Sci. (History), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation (*deputy editor*)

I.I. Isaev, Cand. of Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

G.I. Kabakova, Dr. of Sci. (Philology), Université de Paris-Sorbonne, Paris, France

N.V. Kapustin, Dr. of Sci. (Philology), professor, Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation

V.I. Kimmelman, PhD, Bergen University, Bergen, Norway

J.D. Clayton, PhD, University of Ottawa, Ottawa, Canada

I.V. Kondakov, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

G.Ye. Kreidlin, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

L.I. Kulikov, Cand. of Sci. (Philology), Ghent University, Ghent, Belgium

M.N. Lipovetskiĭ, Dr. of Sci. (Philology), professor, University of Colorado, Boulder, USA

D.M. Magomedova, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

I.V. Morozova, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

V.G. Mostovaya, Cand. of Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

S.Yu. Neklyudov, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

- V.I. Podlesskaya*, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- O.I. Polovinkina*, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- E.Yu. Protasova*, Dr. of Sci. (Pedagogy), University of Helsinki, Helsinki, Finland
- R.I. Rozina*, Dr. of Sci. (Philology), Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- J. Sadowski*, Dr. of Sci. (History), Jagellonian University, Kraków, Poland
- A.Yu. Sorochan*, Dr. of Sci. (Philology), associate professor, Tver State University, Tver, Russian Federation
- Ya.G. Testelets*, Dr. of Sci. (Philology), associate professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- O.I. Togoyeva*, Dr. of Sci. (History), RAS Institute of General History, Moscow, Russian Federation
- V.I. Tyupa*, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- A.A. Kholikov*, Dr. of Sci. (Philology), Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
- O.B. Khristoforova*, Dr. of Sci. (Philology), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- I.O. Shaytanov*, Dr. of Sci. (History), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation
- S.A. Yatsenko*, Dr. of Sci. (History), professor, Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscow, Russian Federation

Executive editor: *G.I. Zvereva*, Dr. of Sci. (History), professor (RSUH)

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования по теории культуры

- Юрин А.Н.*
Понятие «постнациональное» в интеллектуальной культуре
Германии второй половины XX в. 10
- Яковенко И.Г.*
«Нерушимая дружба советских народов»: создание,
бытование и деконструкция одного советского мифа 27

Культурно-исторические исследования

- Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г.*
Между памятью и улицей: букварь в русской эмиграции
как литература (не)возврата 40
- Быховская И.М.*
«Человек телесный» в социокультурном контексте раннесоветской эпохи:
аксиология и социальные практики 65
- Баранова С.И.*
Проект выставки художественной архитектурной керамики в Москве,
1934–1935 гг.: по материалам архива А.В. Филиппова 83

Визуальные исследования

- Уманская Ж.В.*
Маркеры «советского» в детской иллюстрации 60–80-х гг. XX в. 100
- Галушина Н.С.*
Перформативность и жест в социальных движениях 118
- Захарченко И.Н.*
Атлас как визуальный образ культурной памяти:
концепция Ж. Диди-Юбермана 132

Медиаисследования

- Плужник В.В.*
Радиоголос как режим интермедальности в советской культуре 149
- Зверева Г.И.*
Концепции «платформенного общества»
в современных социокультурных исследованиях 161

CONTENTS

Studies in Cultural Theory

- Alexander N. Yurin*
Concept “Postnational” in German intellectual culture
of the second half of the 20th century 10
- Igor G. Yakovenko*
“Unbreakable friendship of the Soviet people”:
creation, existence and deconstruction of one Soviet myth 27

Studies in Cultural History

- Natalya B. Barannikova*, *Vitaly G. Bezrogov*
Memory and/or the street?
Russian émigré textbooks as (non)return literature 40
- Irina M. Bykhovskaya*
“Homo Corporis” in the socio-cultural context of early Soviet era:
axiology and social practices 65
- Svetlana I. Baranova*
The project of the exhibition of artistic architectural ceramics in Moscow,
1934–1935: According to the materials of the archive A.V. Filippova 83

Visual Studies

- Zhanna V. Umanskaya*
Markers of “Soviet” in children’s illustration of 60–80s of 20th century 100
- Natal’ya S. Galushina*
Performativity and gesture in social movements 118
- Irina N. Zakharchenko*
Atlas as a visual image of cultural memory:
the concept of G. Didi-Huberman 132

Media Studies

- Victoria V. Pluzhnik*
Radio voice as regime of intermediality in Soviet culture 149
- Galina I. Zvereva*
The concepts of a platform society
in contemporary socio-cultural research 161

Исследования по теории культуры

УДК 130.2(430)

DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-10-26

Понятие «постнациональное» в интеллектуальной культуре Германии второй половины XX в.

Александр Н. Юрин

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, yurinalexander@mail.ru*

Аннотация. В статье ставится цель – проследить историю использования понятия «постнациональное» в интеллектуальной культуре Германии во второй половине XX в. Важность такого исторического экскурса объясняется тем, что это понятие оказывается центральным в дискуссиях о глобализации на рубеже тысячелетий, в которых немецкие авторы заняли ведущие позиции. Такая ситуация связана с тем, что употребление понятия «постнациональное» в различных вариациях активно использовалось в специфических для ФРГ социально-политических и социокультурных контекстах до конца холодной войны. Опираясь на методологию исторической семантики и истории понятий, в статье предпринимается реконструкция ключевых для понимания развития этого понятия контекстов употребления. Контекстуальная реконструкция в этом случае оказывается необходимой, поскольку значение понятий напрямую зависит от контекста и несводимо к их внутреннему содержанию. Набор контекстуальных употреблений этого понятия ограничен ключевыми исследовательскими текстами, в которых оно оказывается интерпретируемым. Такая генеалогия призвана указать на интеллектуальную преемственность и ресемантизацию этого понятия вплоть до его активного использования в широких международных академических дебатах о глобализации и космополитизме. Это поможет не только лучше понять круг значений, связанных с понятием «постнациональное», но и определить его специфическое место в интеллектуальной культуре Германии второй половины XX в.

Ключевые слова: понятие «постнациональное», постнациональная демократия, постнациональное сознание, постнациональная констелляция, постнациональная идентичность, глобализация, космополитизм, Германия

Для цитирования: Юрин А.Н. Понятие «постнациональное» в интеллектуальной культуре Германии второй половины XX в. // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 10–26. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-10-26

© Юрин А.Н., 2019

Concept “Postnational” in German intellectual culture of the second half of the 20th century

Alexander N. Yurin

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, yurinalexander@mail.ru

Abstract. This article aims to track back a history of the concept “postnational” in German intellectual culture of the second half of the 20th century. The concept has been widely used in international debates on globalization in the wake of the 21st century, where German intellectuals took up leading positions. Such a reference to German intellectual tradition is to be explained by a unique FRG postwar experience where this concept has been forged and used in various sociopolitical and sociocultural contexts, well before the end of the cold war. I will be undertaking a reconstruction of the basic historical contexts, which make this concept open for interpretations, based on the historical semantics and conceptual history methodology. Contextual reconstruction is crucial, due to the nature concepts which makes them dependable on the context and doesn't let them be interpreted by their internal meaning. The variety of contexts is to be limited by the basic academic texts, where concept «postnational» plays a key role. This genealogy is aimed to indicate intellectual continuity and evolution of this concept up to its wide use in international academic debates on globalization and cosmopolitanism. This would also help to better understand a wide range of meanings ascribed to it.

Keywords: Concept “postnational”, postnational democracy, postnational consciousness, postnational constellation, globalization, cosmopolitanism, Germany

For citation: Yurin A.N. Concept “Postnational” in German intellectual culture of the second half of the 20th century. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*, 2019;8:10-26. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-10-26

Введение

В междисциплинарных исследованиях нации и национализма (nationalism studies) на рубеже XX–XXI вв. понятие «постнациональное» в различных его формах становится одним из ключевых для описания нового мироустройства, в котором главенствующая роль национальных государств и национальной идентичности, если не будет упразднена, то в значительной мере пересмотрена. Чаще всего это понятие употреблялось в контексте осмысления глобализационных процессов, которые рассматривались как основной вызов национальному государству.

Это определение казалось интуитивно понятным и удобным для описания мира после холодной войны. Примечательно то, что ни один из авторов, для кого это понятие было центральным, не пытался дать ему развернутого и эксплицитного определения, а использовал его имплицитно. На рубеже XX–XXI вв. главы или параграфы, посвященные концептуализации будущего политики, экономики и культуры «по ту сторону национализма», появляются в учебниках, ридерах, сборниках статей и работах крупных представителей *nationalism studies*. По большей части понятие «постнациональное» обнаруживается в них в качестве прилагательного¹, которое в связке с другими понятиями образует новые смысловые конструкции, которые потребовались для описания такого широкого спектра феноменов и проблем. Это понятие оказывается не просто описательным предикативом, а играет важную роль в изобретении и поиске нового языка для описания меняющейся социальной реальности. За ним стоял целый каталог научно-исследовательских вопросов, возникших перед исследователями всего мира в 90-е гг., что позволило Энтони Смиуту, одному из главных теоретиков *Nationalism studies*, говорить о «постнациональной повестке дня», на которой лежали следующие темы:

1. Воздействие нынешнего естественного движения населения на перспективы национального государства и особенно на распад национальной идентичности и возникновение мультикультурализма.
2. Воздействие феминистского анализа и проблем гендера на характер национальных проектов, идентичностей и сообществ, а также роль гендерной символики и совместного отстаивания женщинами своих прав.
3. Преимущественно нормативные и политические дебаты о последствиях для гражданства и свободы гражданского и этнического типов национализма и их отношениях с либеральной демократией.
4. Влияние тенденций глобализации и «постмодернистских» наднациональных проектов на национальный суверенитет и национальную идентичность [1 с. 366].

Исследователи нации и национализма относились по большей части осторожно к утверждению о наступлении «постнационального» мироустройства и рассматривали его скорее в качестве продукта теоретического осмысления глобализационных процессов. Эту осторожность или даже скепсис у преимущественно англо-

¹ Хотя можно встретиться и с попыткой субстантивировать его, используя в качестве англ. «the post-national» или нем. «das postnationale».

американских исследователей можно обнаружить уже в вопросительной форме названий глав ключевых работ. Так, например, главы с одноименным названием “Beyond nationalism?”² возникают в работе Филипа Сперсера и Говарда Воллмана «Национализм: критическое введение», а также в оксфордском ридере Энтони Смита и Джона Хатчинсона «Национализм». Наиболее же острую критику в адрес «постнационального будущего» высказал Крейг Калхун в своей работе «Нации имеют значение: культура, история и космополитическая мечта», задав риторический вопрос: «Пришло ли время быть постнациональным?»

В центре критики Калхуна оказались три немецких автора: Юрген Хабермас, Ульрих Бек и Мартин Кёлер, чьи работы оказали большое влияние на теоретизацию космополитизма в эпоху глобализации и для которых (пожалуй, кроме Кёлера) одним из ключевых понятий для описания мира после холодной войны становится понятие «постнациональное»:

Защитники космополитического мирового порядка часто представляют его как выход за пределы (beyond) национального государства. Юрген Хабермас, например, пишет о «постнациональной констелляции». Мартин Кёлер видит движение от «национальной к космополитической публичной сфере», при котором «мир развивается как единое целое благодаря социальной активности и свободному волеизъявлению населения, разделяющего общие ценности и интересы, такие как права человека, демократическое участие, верховенство закона и сохранение мирового экологического наследия». Конечно, Кёлер признает тот факт, что необходимые для этого структуры власти все еще не заняли свое место на глобальном уровне; он является умеренным космополитом, который все еще видит определенную роль государств. Ульрих Бек же занимает более радикальную позицию. Он описывает «политику постнационализма», в которой «космополитический проект вступает в противоречие с проектом национального государства и в конечном итоге замещает его» [2. p. 14].

Здесь апелляция к немецкой интеллектуальной традиции оказывается не случайной, поскольку такие понятия, как «постнациональная демократия», «постнациональное сообщество», «постнациональная идентичность», играли важную роль в осмыслении государственного строительства послевоенной ФРГ и соотносились с реальными социально-политическими и социокультурными практиками послевоенного времени. Однако разви-

² По ту сторону национализма.

тие понятия «постнациональное», которое стало столь сильным и универсальным на рубеже XX–XXI вв., происходило в весьма специфических контекстах осмысления развития Западной Германии в 80-е гг.

Данная статья ставит перед собой задачу проследить генеалогию понятия «постнациональное» в интеллектуальной традиции в Германии и определить ключевые социально-политические и социокультурные контексты ее употребления.

В качестве методологической основы для исследования понятия «постнациональное» используются подходы, которые сложились в рамках «истории понятий» (Begriffsgeschichte) – исследовательской программы, возникшей в контексте исторической семантики. Одним из ключевых наблюдений, сформулированных Козеллеком, отцом-основателем «истории понятий», было то, что в отличие от слов, которым можно дать дефиницию, понятия всегда обладают множеством значений и могут быть лишь «интерпретированы». Однако «изобилие значений» не было для Козеллека сложностью. Скорее, оно представлялось ему важным свойством, которое позволяло увидеть в понятиях меняющиеся исторические, социальные и политические взаимосвязи [3 с. 37–38]. Развитие «истории понятий» как исторической субдисциплины привело не только к преодолению дисциплинарных границ, в результате чего она стала междисциплинарной научно-исследовательской перспективой, но и к более широкому пониманию ее методологических оснований. Как отмечает Х.Э. Бёдекер,

исследуемые основные понятия всегда спорны, а политико-социальная семантика необъяснима без учета взглядов разговаривающих и интересов говорящего. Поэтому исследования Козеллека направлены в конечном счете на историю рождения смысла посредством языка и выходят за пределы анализа отдельных ключевых терминов. При таком подходе «история понятий» превращается в методологическом плане в социоисторический дискурсивный анализ, а ее интенции приближаются к англо-американскому и французскому типу исторической семантики [4 с. 8–9].

Именно такое понимание методологии «истории понятий», характерное для исторической культурологии, использовано при реконструкции смыслов, связанных с историей понятия «постнациональное». Иными словами, мы рассматриваем это понятие в качестве узловой точки социоисторического дискурса-анализа, источниками которого служат базовые научно-исследовательские тексты. С помощью такой генеалогии мы попытаемся про-

следить то, каким образом это понятие, помещенное в разные социально-политические и социокультурные контексты, обретает новые смыслы.

Постнациональная демократия среди других национальных государств

Первым, кто ввел в широкий оборот понятие «постнациональное» в интеллектуальной традиции ФРГ, принято считать [5 S. 438] Карла Дитриха Брахера, который в 1976 г. в своей книге «Немецкая диктатура: возникновение, структуры и последствия национал-социализма» назвал ФРГ «постнациональной демократией среди других национальных государств» [6 S. 544]. Поначалу эта формула не претендовала на большой эвристический потенциал и тем более не имела особых политических притязаний. И все же для Брахера она описывала как внутреннее, так и внешнее положение ФРГ после краха диктатуры национал-социализма и образования нового демократического государства. Однако темы диктатуры и демократии в истории Германии оказались неразрывно связаны с послевоенным положением: делением национального государства на ФРГ и ГДР и, по сути, лишением их внешнего суверенитета. Таким образом, эта формула апеллирует к теме «разделенной нации». Вместе с тем она возникает в особенном интеллектуальном ландшафте ФРГ, где после крушения Третьего рейха вопрос о национальной идентичности был тесно связан с темой «коллективной вины» и ответственностью за ужасы Холокоста. Так, работа Карла Ясперса «Вопрос о виновности» установила фундаментальные параметры послевоенных дискуссий о немецкой вине и ее связи с германской нацией [7 р. 27].

Позже М.Р. Лепсиус напишет о послевоенной ФРГ:

Коллапс режима национал-социализма и безоговорочная капитуляция пошатнули основы интеграционной идеологии, основанной на немецком национализме, при котором немцами во имя германской нации совершались преступления. Воображаемый порядок (*gedachte Ordnung*) германской нации больше не мог претендовать на роль порядкообразующей идеи (*Ordnungsidee*), чему, с одной стороны, препятствовала оккупация страны и переход управления в руки союзников, а с другой стороны, внутренняя делигитимация национализма [8 S. 235].

Формула «постнациональная демократия среди других национальных государств» фиксировала особое положение ФРГ, в котором страна встала на рельсы демократического развития при усло-

вии разделенной на два государства нации и недоступности национальной идеи в качестве фундамента для построения государства. В 80-е гг. она становится все более популярной в среде интеллектуалов, вплоть до того, что один из ведущих историков, Хайнрих Август Винклер, отметит:

Как известно со времен Гегеля, сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек. Федеративная Республика Германия (ФРГ) была уже на полпути в четвертое десятилетие своего существования, как она обрела полное самосознание. В 1986 году, за четыре года до объединения, один из самых известных политологов, Карл Дитрих Брахер из Боннского университета, нашел формулу, в которой западные немцы узнавали себя. Он назвал Федеративную Республику «постнациональной демократией среди других национальных государств» [9 p. 107].

Таким образом, из описательной конструкции эта формула превратилась в метафору с мощным социально-политическим потенциалом, претендующую на отражение новой идентичности западных немцев, а понятие «постнациональное» играло в ней ключевую роль.

Постнациональная идентичность и спор историков

Понятие «постнациональное» получило широкое распространение благодаря Юргену Хабермасу и одному из самых крупных событий в интеллектуальной жизни Германии второй половины XX в. – спору историков (Historikerstreit). Академические споры о месте национал-социализма в истории ФРГ, вылившиеся на страницы газет, только на поверхности были спорами о прошлом. На кону лежало не столько историческое знание, сколько национальное самосознание Федеративной Республики [7 p. 60]. В этих дебатах «постнациональная идентичность» Западной Германии становится связанной, а нередко и синонимичной [10 S. 47] понятию, изобретенному Штернбергером, – «конституционный патриотизм» и описывает не только соотношение внешнеполитических условий «разделенной нации» с внутренним состоянием, но и новую идентичность граждан ФРГ. С отделением общей культурной идентичности от общественных и государственных форм происходит и отделение ставшей действительно диффузной национальности от гражданства (Staatsangehörigkeit), что освободило место

для новой политической идентичности, которую население сочло достойной сохранения в процессе послевоенного развития. В Федеративной Республике Германии Рольф Штернбергер наблюдает настоящий конституционный патриотизм, т. е. готовность идентифицировать себя с политическим порядком и принципами конституции...

Однако современные дебаты демонстрируют то, что здесь существуют разночтения. Некоторые могут обнаружить в тех же самых явлениях признаки патологии, связанной с травмированной национальной идентичностью. Так или иначе, зачатки «постнациональной», связанной с конституционным государством идентичности могли бы закрепиться и развиваться только в общих рамках, выходящих за пределы Федеративной Республики тенденций [11 S. 168–169]. Для Хабермаса обсуждение «постнациональной идентичности» происходит сразу в нескольких контекстах. С одной стороны, речь идет об Аушвице как о событии, нарушившем исторический континуум, а с другой – об историзме, возникшем вместе с национализмом вследствие Французской революции. В этом смысле «постнациональная идентичность» в форме конституционного патриотизма рождается как результат отделения культурной идентичности от государственных и политических форм, в результате чего последние перестают черпать свою легитимность в национальной истории. С другой стороны, лейтмотивом рассуждений о «постнациональной идентичности» западных немцев является вовлечение ФРГ в Западную цивилизацию (*Westbindung*), и именно Запад и западные политические ценности играют здесь роль эталонного значения, через которое определяется историческая девиация Германии, которая узнается в идеологии особого пути (*Sonderweg*). Так, на пике спора историков Хабермас писал:

Единственный патриотизм, который не отдалит нас от Запада, – это конституционный патриотизм. Для культурной нации немцев (*Kulturnation*) укорененная в убеждениях связь с конституционными принципами, к сожалению, могла быть построена только после и вследствие (*durch*) Аушвица. И те, кто сегодня пытается нас вогнать в краску с помощью словосочетания «одержимость виной» (Штюрмер и Опенгеймер), те, кто призывают немцев вернуться к конвенциональной форме национальной идентичности, разрушают единственную надежную основу для связи с Западом [12 S. 50].

И в то же время уже в конце 80-х гг. для Хабермаса были очевидны тенденции в изменении мировой архитектуры, которые позволяли метафоре «постнациональное» выйти за пределы опыта

Федеративной Республики. Важными изменениями для него были не только те, которые обусловливались интеграционными процессами в Европе и положением ФРГ, но и те, которые были связаны с «капиталистической мировой экономикой», гегемонией стран, «вооруженных атомным оружием», «массовой миграцией», «массовыми коммуникациями», «массовым туризмом» и «интернационализацией науки» [11 S. 169–171].

Постнациональная демократия и «немецкое воссоединение»³

«Мирная революция» в ГДР и ее «национальный поворот», приведший к объединению Германии, застали население обеих Германий, включая интеллектуалов, врасплох. В среде интеллектуалов все чаще стали звучать голоса, провозглашающие торжество «принципа нации» [13 S. 126], что вызывало серьезное беспокойство тех, кто еще несколько лет назад боролся за «постнациональную идентичность». Осознавая всю турбулентность событий 1989–1990 гг. и неопределенность их последствий, Хабермас задает вопрос:

Будет ли Федеративная Республика, которая Лепсиусом и многими из нас еще недавно воспринималась в качестве «постнационального политического сообщества», возвращена в, казалось бы, преодоленное ее гражданами националгосударственное (nationalstaatliche) прошлое? [14 S. 210]

Для Брахера формула «постнациональная демократия среди других национальных государств» описывала временное состояние, связанное с послевоенным разделением Германии, а следовательно, после объединения теряла свою актуальность:

Я говорил о том, что мы должны будем жить в качестве «постнациональной демократии среди других национальных государств» до тех пор, пока существует разделение Германии. Я не говорил о том, что мы являемся только лишь постнациональной демократией и что это навсегда. В действительности, сегодня наше положение среди других национальных государств нельзя назвать особенным. Мы являемся национальным государством, как и все остальные [15 S. 42].

³ Букв. перевод: Die deutsche Wiedervereinigung.

Еще более радикальную позицию в отношении «постнационального настоящего» объединенной Германии занял Хайнрих Август Винклер, который видел в «постнациональной демократии» еще одну девиацию (Sonderweg) в «долгом пути на Запад»⁴:

Формула «постнациональная демократия среди других национальных государств» описывала особенность Федеративной Республики, возможно даже новый особый путь (Sonderweg), так как остальные страны-члены Европейского Сообщества были демократическими национальными государствами и представляли собой норму (Normalfall) [5 S. 440].

И несмотря на то, что эта формула отражала мироощущение целого ряда интеллектуалов Западной Германии, Винклер пишет о том, что она неприменима к современной Германии:

Объединенная Германия не является «постнациональной демократией среди национальных государств». Она является постклассическим демократическим национальным государством среди других таких же государств-членов Европейского союза [16].

Несмотря на то что объединение Германии сделало понятие «постнациональное» нерелевантным для описания современной ФРГ, оно не поставило крест на нем, а скорее дало возможность для перерождения этого понятия в новых контекстах.

Трансформация понятия «постнациональное» в контексте глобализации и европейской интеграции

Падение Берлинской стены, объединение Германии и распад СССР стимулировали научные дискуссии по вопросам глобализации и ее влиянии на важнейшие сферы жизнедеятельности человека. Слово «глобализация», которое до начала 90-х гг. довольно редко использовалось в научных дискуссиях, в течение одного десятилетия сделало «головокружительную карьеру». «История непривлекательного термина “глобализация” весьма интересна.

⁴ «Долгий путь на Запад» – название классической двухтомной работы Х.А. Винклера по истории Германии.

Еще около десяти лет назад это слово почти не использовалось ни в академических работах, ни в популярной прессе. Появившись из ниоткуда, это слово стало использоваться повсеместно: ни политические речи, ни учебники по ведению бизнеса не обходятся без отсылки к нему», – писал Энтони Гидденс в 1998 г. [17 р. 28]. Несмотря на всю широту и многозначность этого термина, здесь важно то, что дискуссии о глобализации предполагали пересмотр роли и влияния национальных государств в мировой архитектуре после окончания холодной войны. Глобализация стала рассматриваться как основной вызов национальному государству практически во всех сферах. Так, Ульрих Бек, один из самых цитируемых исследователей глобализации, писал:

Национальное государство есть государство территориальное, его власть зиждется на связи с определенной местностью (контроль над членством, издание действующих законов, защита границ и т. д.). Мировое общество, которое образовалось в процессе глобализации во многих сферах, а не в одной только экономической, ослабляет, ставит под сомнение могущество национального государства, вдоль и поперек пронизывая его территориальные границы множеством разнообразных, не связанных с определенной территорией социальных зависимостей, рыночных отношений, сетью коммуникаций, несхожими нравами и обычаями населения. Это проявляется во всех важнейших сферах, на которых держится национально-государственный авторитет: в налоговой политике, в высших полномочиях полицейского аппарата, во внешней политике, в области военной безопасности [18 с. 14–15].

Объединение Германии также послужило толчком к политическому оформлению Европейского союза, беспрецедентной по уровню интеграции супранациональной организации, что также внесло свои коррективы в осмысление роли национальных государств как в Европе, так и в мире. Обсуждение глобализации и европейской интеграции стало основным контекстом для осмысления «постнационального» во второй половине 90-х гг. Послевоенный опыт Германии в отделении культурного (национального) от политического, который Хабермас и другие называли «постнациональным сознанием», оказался важным в осмыслении того, каким образом возможна демократия вне национального государства. Так, рассуждая о прошлом и будущем национального государства, его достижениях и пределах, Юрген Хабермас все еще обращается к «постнациональному сознанию» и «конститу-

ционному патриотизму», но рассматривая их в более широких и универсальных контекстах европейской интеграции и глобализации:

...многим европейским странам – и не только двум Германиям – было отказано в собственной внешней политике. Отныне их внутренние конфликты перестали прятаться за приоритетом внешних сношений. При таких условиях стало возможным отделить универсалистское понимание конституционного государства от его традиционного выражения в силовой политике, мотивируемой национальными интересами. Несмотря на угрожающий образ коммунистического врага, происходил постепенный отказ от концептуальной привязки гражданских прав и свобод к амбициям национального самоутверждения. Национальная свобода уже не составляла главной проблемы – даже в Западной Германии. Эта тенденция к так называемому постнациональному самосознанию конституционного государства, вероятно, несколько более сильно, чем в других странах, была выражена в бывшей Федеративной Республике Германии – учитывая ее особое положение и тот факт, что она, в общем-то, даже формально была лишена своего внешнего суверенитета [19 с. 375–376].

«Постнациональное сознание» и «постнациональная демократия» становятся теми формулами, которые позволяют осмыслить республиканские формы управления и демократию в отрыве от их культурного содержания. Внутренний опыт ФРГ, схваченный этой метафорой, выносится в глобальную сферу, становясь универсальной моделью. В 1998 г. выходит в свет «Постнациональная констелляция» Ю. Хабермаса, где автор высказывается о «постнациональном» двояким образом. С одной стороны, речь идет о «постнациональной демократии», т. е. демократии, возможной в условиях глобализации и отрыве от национального государства. А с другой стороны, он говорит о «постнациональной констелляции» или «постнациональных вызовах», где «постнациональное» понимается в качестве условий, в которых оказалось будущее демократии, связанное с процессами глобализации [20 с. 105–152]. Теоретизация процессов глобализации и размышления о будущем национального государства происходили в тесной связи с осмыслением возникшей в Европе политической супранациональной интеграции. Поэтому в качестве ответа на «постнациональные вызовы» глобализации Хабермас видит Евросоюз, который, по его мнению, может стать примером существования демократии по ту сторону национального государства [20 с. 144].

*Космополитизм и вторая
«постнациональная» эпоха модерна*

Наиболее смелые попытки выйти за пределы «национального» предпринимает Ульрих Бек, который не только рассматривает глобализацию в качестве вызова основным структурам первого модерна (в первую очередь национальному государству), но и настаивает на переходе к принципиально другой парадигме в социальных науках – космополитизму [21 р. 80]. По Беку, социальная теория все еще остается в плену у национально-государственной парадигмы, несмотря на развивающийся космополитический взгляд на социальные взаимоотношения во вторую эпоху модерна. С этих позиций «постнациональная констелляция» Хабермаса, которая находит свой ответ в создании ЕС, встречает жесткую критику:

...у Хабермаса речь идет о расширении национальной политики в более крупном историческом масштабе (Европейская демократия, Европейское национальное государство, Европейское государство благосостояния и т. д.). В конце концов, Хабермас оказывается заложником противоречий теории постнациональной нации [21 р. 91].

По мнению Бека, основным вопросом, которым задается Хабермас в «Постнациональной констелляции», является вопрос о «Европейском народе» как о субъекте постнациональной демократии, которая схватывается в терминах «расширенной рамки» (extended closure) национальной демократии» [21 р. 91]. Для Бека позиция Хабермаса характеризуется «двойственностью», свойственной второму модерну, в котором повседневный опыт пронизан космополитизмом, а «коварные националистические понятия продолжают почти с прежней частотой посещать головы людей, не говоря уж об их присутствии в теориях и исследовательской практике общественных наук» [22 с. 26]. В этих рассуждениях Бека формула «постнационального» в различных своих вариациях становится синонимичной космополитизму и космополитической перспективе, которая должна преодолеть методологический национализм и уйти от социальной теории, связанной национально-государственной парадигмой.

Заклучение

Краткий обзор основных контекстуальных употреблений понятия «постнациональное» позволяет увидеть круг значений, который приписывался ему в различные исторические периоды. В течение нескольких десятилетий это понятие проделало сложный путь. Сначала оно характеризовало аномальное положение ФРГ, связанное с положением «разделенной нации» и недоступностью позитивной национальной идентификации после Холокоста. Затем это понятие стало ассоциироваться с конституционным патриотизмом, в котором культурное отделялось от политического. В дальнейшем, в контексте глобализации, с помощью «постнационального» описывались формы существования демократии вне национального государства. Кульминацией этого пути является понимание «постнационального» как космополитического мироустройства и космополитического мировоззрения, которое порывает с методологическим национализмом и предлагает новую перспективу в гуманитарных и социальных науках. Понятие «постнациональное», будучи прикрепленным к таким базовым понятиям, как «демократия», «идентичность» «самосознание», расширяет круг их значений, связанных с переосмыслением исследователями социальных и гуманитарных наук проблем германского государства и общества в различные периоды истории. Для исследователей это понятие, прежде чем оно попало в широкие дебаты о глобализации, отражало специфический культурно-исторический опыт Германии послевоенного времени. Представленная нами ретроспектива помогает лучше понять градуальное и специфическое развитие этого понятия, которое на рубеже веков становится ключевым для описания мира «по ту сторону» национального государства.

Литература

1. *Смит Э.Д.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма / Пер. с англ. А.В. Смирнова, Ю.М. Филиппова, Э.С. Загашвили и др. М.: Праксис, 2004. 464 с.
2. *Calhoun C.* Nations Matter: Culture, History and the Cosmopolitan Dream. Routledge, 2007. 252 p.
3. *Козеллек Р.* Введение (Einleitung) // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи: В 2 т. Т. 1 / Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле [ред.]; пер. с нем. К. Левинсон; сост., науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 37–38.
4. *Бёдекер Х.Э.* Отражение исторической семантики в исторической культурологии // История понятий, история дискурса, история менталитета: пер. с нем. / Ред. Х-Э. Бёдекер. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 8–9.

5. *Winkler H.A.* Der lange Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche Geschichte vom "Dritten Reich" bis zur Wiedervereinigung. München: C.H. Beck. 2000, 742 S.
6. *Bracher K.D.* Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, 5 Auflage, Köln, 1976. 587 S.
7. *Müller J-W.* Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity. Yale University Press, New Haven CT u. a., 2000. 320 p.
8. *Lepsius M.R.* Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des «Großdeutschen Reiches» (1988), in: Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993. S. 229–245.
9. *Winkler H.A.* Rebuilding of a Nation: The Germans before and after Unification // Winkler H.A., Murphy C.M., Partsch C., List S. Daedalus, Vol. 123, no. 1: Germany in Transition (Winter, 1994). P. 107–127.
10. *Westle B.* Traditionalismus, Verfassungspatriotismus und Postnationalismus im vereinigten Deutschland // Niedermayer O., von Beyme K. (Hrsg.). Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland. KSPW: Transformationsprozesse (Schriftenreihe der Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern e.V. [KSPW]). Vol 3. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1996. S. 43–76.
11. *Habermas J.* Geschichtsbewußtsein und posttraditionale Identität. Die Westorientierung der Bundesrepublik // Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung: Kleine Politische Schriften VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987. S. 159–179.
12. *Habermas J.* Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung. DIE ZEIT v. 11. 07. 86 // Kühnl R. (Hrsg.) Streit ums Geschichtsbild: d. "Historiker-Debatte"; Darst., Dokumentation, Kritik. Köln: Pahl-Rugenstein, 1987. S. 42–51.
13. *Mayer T.* Kommunitarismus, Patriotismus und das nationale Projekt // Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften: Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven. VS Verlag für Sozialwissenschaften; Auflage: 1994. S. 115–131.
14. *Habermas J.* Nachmals: Zur Identität der Deutschen. Ein einzig Volk von aufgebrauchten Wirtschaftsbürgern? // Habermas J. Die nachholende Revolution: Kleine Politische Schriften VII. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. S. 205–225.
15. Karl Dietrich Bracher im Gespräch mit Werner Link: Zwischen Geschichts- und Politikwissenschaft // Lehmann H., Oexle O.G. (Hrsg.), Erinnerungstücke. Wege in die Vergangenheit: Rudolf Vierhaus zum 75. Geburtstag gewidmet, Wien; Köln; Weimar, 1997. 284 S.
16. *Winkler H.A.* Eine verspätete Nation? Zum Ort der Wiedervereinigung in der deutschen Geschichte [Электронный ресурс]. URL: <https://zeitzeichen.net/archiv/geschichte-politik-gesellschaft/verspaetete-nation/> (дата обращения 20.06.2019).
17. *Giddens A.* The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Polity Press, 1998. 176 p.
18. *Бек У.* Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева, Б. Седельника; общ. ред., послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.
19. *Хабермас Ю.* Европейское национальное государство: его достижения и пределы: О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. и др. Нации и национализм / Пер с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002. С. 364–380.

20. Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии // Логос. 2003. № 4–5 (39). С. 105–152.
21. Beck U. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. Issue 1, January/March. P. 79–105.
22. Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2008. 336 с.

References

1. Smith AD. *Nationalism and Modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism*. Moscow: Praxis Publ.; 2004. 464 p. [In Russ.]
2. Calhoun C. *Nations Matter: Culture, History and the Cosmopolitan Dream*. Routledge, 2007. 252 p.
3. Koselleck R. Introduction. V: Zareckii Yu., Levinson K., Shirle I., eds. *Basic Concepts in History: selected articles*. 2 bds. Bd. 1. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2014. P. 37-8. [In Russ.]
4. Bödeker HE. Reflection of Historical Semantics in Historical Cultural Studies. V: Bödeker H. ed. *History of concepts, history of discourse, history of mentality*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2010. P. 8-93. [In Russ.]
5. Winkler HA. *Der lange Weg nach Westen*. Bd. 2: Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich“ bis zur Wiedervereinigung. München, C.H. Beck, 2000. 742 S.
6. Bracher KD. *Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus*. 5 Auflage. Köln, 1976. 587 S.
7. Müller J-W. *Another Country: German Intellectuals, Unification and National Identity*. Yale University Press, New Haven CT u. a., 2000. 320 p.
8. Lepsius MR. Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des “Großdeutschen Reiches” (1988). V: *Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen*, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1993. S. 229-45.
9. Winkler HA. Rebuilding of a Nation: The Germans before and after Unification. V: Winkler HA., Murphy CM., Partsch C., List S. *Germany in Transition. Daedalus*, 1994. Vol. 123, No. 1. P. 107-27.
10. Westle B. Traditionalismus, Verfassungspatriotismus und Postnationalismus im vereinigten Deutschland. V: Niedermayer O., Beyme OK. von, Hrsg. *Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland*. KSPW: Transformationsprozesse (Schriftenreihe der Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern e.V. [KSPW]). Vol 3. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1996. S. 43-76.
11. Habermas J. Geschichtsbewußtsein und posttraditionale Identität. Die Westorientierung der Bundesrepublik. V: Habermas J. *Eine Art Schadensabwicklung*. Kleine Politische Schriften VI. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1987. S. 159-79.
12. Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung. DIE ZEIT v. 11. 07. 86. V: Kühnl R. (Hrsg.) *Streit ums Geschichtsbild: d. “Historiker-Debatte”*; Darst., Dokumentation, Kritik. Köln: Pahl-Rugenstein, 1987. S. 42-51.

13. Mayer T. Kommunitarismus, Patriotismus und das nationale Projekt. V: *Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften: Länderdiagnosen und theoretische Perspektiven*. VS Verlag für Sozialwissenschaften; Auflage, 1994. S. 115-31.
14. Habermas J. Nochmals: Zur Identität der Deutschen. Ein einzig Volk von aufgebrachtten Wirtschaftsbürgern? V: Habermas J. *Die nachholende Revolution*: Kleine Politische Schriften VII. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1990. S. 205-25.
15. Karl Dietrich Bracher im Gespräch mit Werner Link: Zwischen Geschichts- und Politikwissenschaft. V: Lehmann H., Oexle OG. (Hg.). *Erinnerungsstücke. Wege in die Vergangenheit*. Rudolf Vierhaus zum 75. Geburtstag gewidmet, Wien; Köln; Weimar, 1997. 284 S.
16. Winkler HA. *Eine verspätete Nation? Zum Ort der Wiedervereinigung in der deutschen Geschichte* [Internet]. URL: <https://zeitzeichen.net/archiv/geschichte-politik-gesellschaft/verspaetete-nation/> (data obrashcheniya 20.06.2019).
17. Giddens A. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Polity Press, 1998. 176 p.
18. Beck U. *What is Globalization?* M.: Progress-Tradition Publ.; 2001. 304 p. [In Russ.]
19. Habermas J. The European Nation-state: on the Past and Future of Sovereignty and Citizenship. V: Anderson B., Bauer O., Hroch M. etc. *Nations and Nationalism*. Moscow: Praxis Publ.; 2002. p. 364-80. [In Russ.]
20. Habermas J. The Post-National Constellation and the Future of Democracy. V: *Logos*. 2003;4-5:105-52. [In Russ.]
21. Beck U. The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity. V: *British Journal of Sociology*. 2000. Vol. 51. Issue 1 (January/March). p. 79-105.
22. Beck U. *Cosmopolitan Vision*. Moscow: Centr issledovaniy postindustrial'nogo obshchestva Publ.; 2008. 336 p. [In Russ.]

Информация об авторе

Александр Н. Юрин, аспирант, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; Россия, Москва, 125993, Миусская пл., д. 6; yurinalexander@mail.ru

Information about the author

Alexander N. Yurin, postgraduate student, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russia; yurinalexander@mail.ru

«Нерушимая дружба советских народов»:
создание, бытование и деконструкция
одного советского мифа

Игорь Г. Яковенко

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, igjack@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматривается один из базовых советских мифов – «нерушимая дружба советских народов». Описываются формы выражения данной идеологической конструкции. Исследуется образ «старшего брата», под которым понимался русский народ. Раскрываются основания нерушимости дружбы советских народов, которая трактовалась как одно из основных завоеваний советской власти. Эта идеологическая конструкция сложно сочеталась с реальностью советской эпохи. Культурные, конфессиональные и локально цивилизационные различия разных сегментов советского общества сохранялись и противостояли интегрирующему воздействию государства. Все народы СССР переживали модернизацию, но, вопреки упованиям политиков и идеологов, процессы сближения не обеспечивали слияния. Советская идеология не смогла обеспечить интеграцию, а под слоем государственной пропаганды разворачивались процессы дифференциации и национального становления. Кризис советского общества резко обозначил культурные и геополитические ориентации разных народов СССР. Эпоха перестройки, распад СССР и постсоветская реальность раскрыли фиктивный характер мифа о «нерушимой дружбе советских народов». Сегодня «нерушимая дружба» – материал для исследования сложной диалектики идеологических установок идеократического государства и объективных социокультурных процессов, развивающихся в этом обществе.

Ключевые слова: «нерушимая дружба советских народов», модернизация, национальное становление, «расцвет и сближение социалистических наций», национальная интеллигенция

Для цитирования: Яковенко И.Г. «Нерушимая дружба советских народов»: создание, бытование и деконструкция одного советского мифа // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 27–39. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-27-39

“Unbreakable friendship of the Soviet people”: creation, existence and deconstruction of one Soviet myth

Igor G. Yakovenko

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; igjack@yandex.ru

Abstract. The article investigates one of the basic Soviet myths – “Unbreakable friendship of the Soviet people”. The forms of expression of this ideological construction are described. The image of “the elder brother”, which was understood as the Russian people, is investigated. The article reveals the foundations of the inviolability of friendship of the Soviet peoples, which is interpreted as one of the main achievements of Soviet power.

The studied ideological structure was difficult to combine with the reality of the Soviet era. Cultural, confessional and locally civilizational differences of different segments of Soviet society persisted and resisted the integrating influence of the state. All the peoples of the USSR experienced modernization, but, contrary to the hopes of politicians and ideologists, the processes of rapprochement did not provide a merger. The Soviet ideology could not provide integration, and under a layer of the state promotion, processes of differentiation and national formation were developed. The crisis of Soviet society sharply marked the cultural and geopolitical orientations of different peoples of the USSR. The era of Perestroika, the collapse of the USSR and the post-Soviet reality revealed the fictitious nature of the myth of the “unbreakable friendship of the Soviet people.” Today, “unbreakable friendship” is a material for the study of complex dialectics of ideological attitudes of an ideocratic society and objective socio-cultural processes developing in this society.

Keywords: “unbreakable friendship of the Soviet people”, modernization, national formation, “flourishing and rapprochement of socialist Nations”, national intelligentsia

For citation: Yakovenko IG. “Unbreakable friendship of the Soviet people”: creation, existence and deconstruction of one Soviet myth. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8: 27-39. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-27-39

Введение. История вопроса

Формула «нерушимая дружба народов» относится к важнейшим базовым мифам, на которых покоилась советская идеология. Слова из советского гимна фиксируют базовый характер этой идеологической ценности: «Славься, Отечество наше свободное,/ Дружбы народов надежный оплот!/ Знамя советское, знамя народное / Пусть от победы к победе ведет!» Идея нерушимой дружбы имела тысячи выражений и повторялась в самых разных регистрах.

Она была представлена в московском метро, советском кинематографе, разнообразных неделях и месячниках дружбы. Эта формула варьировалась в названии знаменитого фонтана на ВДНХ, литературного журнала «Дружба народов», ордена «Дружба народов», Российского университета дружбы народов.

«Дружба народов» имела не только закллинательно-идеологическое, но и прагматическое измерение. В многонациональном государстве неизбежно возникали проблемы межнациональных отношений. Формула «нерушимая дружба народов» воспроизводилась в идеологическом пространстве, культуре, массовых коммуникациях, системе образования, выступая базовым интегратором советского общества. В этой формуле просматривался также и идейно-теоретический аспект. Идея дружбы народов, вступивших на путь построения коммунистического общества, вытекала из марксистско-ленинской доктрины как закономерное и неизбежное следствие социалистического выбора. «Дружба народов» являлась органическим компонентом хилиастического переживания социалистического проекта. За ней вырисовывались идеологии Просвещения и Прогресса.

Марксистское обществоведение разрабатывало концепцию дружбы народов, оттачивало формулировки, обращалось к данной теме снова и снова. Определение этого понятия в словаре научного коммунизма, изданном на излете советской эпохи в 1983 г., выглядит следующим образом:

Дружба народов – всестороннее братское сотрудничество, политическая, экономическая, военная и культурная взаимопомощь наций и народностей, ставших на социалистический путь развития; в многонациональных государствах – одна из движущих сил развития социалистического общества; в межнациональных отношениях стран социализма – основа все большей экономической и политической интеграции, единства в борьбе за мир, за сохранение и умножение социалистических завоеваний, за торжество коммунизма¹.

Помимо нормативных определений к проблематике дружбы народов постоянно обращались теоретические журналы «Большевик», а позже «Коммунист», «Молодой коммунист»; выходили монографии. Тема раскрывалась в вузовских учебниках по научному коммунизму, по ней писались и защищались диссертации [1 с. 38].

¹ Дружба народов // Научный коммунизм: Словарь / Александров В.В., Амвросов А.А., Ануфриев Е.А. и др.; под ред. А.М. Румянцева. Изд. 4-е, доп. М.: Политиздат, 1983. 352 с.

Рассматривая такие публикации, необходимо отметить, что «нерушимая дружба советских народов» органично включалась в проект построения коммунизма. Данный проект выглядел социально привлекательным, однако у него был принципиальный недостаток: коммунизм противостоит природе человека и базовым законам самоорганизации социально-культурного целого. А эта целостность во все времена диктует мышление и поведение массового человека.

До тех пор пока реализовывался советский проект, «дружба народов» относилась к бесспорным истинам. По завершении советского этапа отечественной истории проблемы межнациональных отношений и «дружбы народов» в СССР рассматриваются с учетом драматического опыта распада страны в новой деидеологизированной реальности. Эта тема интересует и ученых, работающих в разных областях социально-гуманитарного знания, и публицистов.

В качестве примера обратимся к статье И.В. Бестужева-Лады «Дружба народов: миф или реальность?» [2 с. 146–153]. Автор начинает обсуждение темы с истории межэтнических отношений, бегло прослеживая ее от глубокой древности. Анализируя проблему, Бестужев-Лада формулирует важное суждение: «Дружба – феномен, существующий на персональном уровне. На этническом уровне отношения описываются в других терминах, нагруженных соответствующим смыслом» [2 с. 150]. С его точки зрения корректно говорить об «этническом симбиозе» народов. Подобные отношения, по его мнению, являются взаимовыгодными. Основные претензии Бестужева-Лады к бывшим республикам СССР состоят в «исторической неблагодарности» последних. Автор защищает политику Российской империи, завоевывавшей разные народы, и указывает на их спасение от геноцида, создание зрелой государственности и т. п. Здесь надо отметить, что «историческая неблагодарность» – удел метрополий всех колониальных империй. Англичане создали в Индии сеть железных дорог, систему среднего и высшего образования, внедрили европейскую медицину, боролись с архаическими традиционными обычаями, такими как сати – обряд сжигания вдовы после смерти мужа. Однако нигде не довелось прочесть слова благодарности англичанам со стороны индийского общества. Среди ключевых выводов автора – утверждение об абсолютной нежизнеспособности и абстрактности понятия «дружба народов». Советский период истории Бестужев-Лада трактует как эпоху «окончательного решения национального вопроса». Тем не менее по причинам, которые автор не проясняет, в национальных республиках росли русофобские настроения. И в конечном счете все закончилось распадом СССР. Бестужев-Лада не видит объективных законов самоорганизации этнических целостностей и трактует дистанцирование от «рус-

ских» как результат действий своекорыстных политических сил, как проявление «русофобии». В отличие от пристрастного оценочного суждения И.В. Бестужева-Лады работа Е.В. Коняевой «Содержание и вариативность идеологического концепта “дружба народов”» отличается нейтральным и сугубо академическим подходом к исследуемому явлению [3 с. 190–198]. Среди выводов автора важное место занимает ее утверждение о том, что в постперестроечную эпоху данный концепт лишился своего идеологического ядра и сблизился с содержанием понятия «дружба».

Разные точки зрения на «дружбу народов» представлены и в пространстве современной российской публицистики. Среди них можно найти предложения вновь ввести это понятие в общественный лексикон². Проводятся круглые столы, посвященные «поиску формулы Дружбы народов нашей страны»³. Складывается впечатление, что многие авторы, обращающиеся к осмыслению заявленного проблемного пространства, не сознают объективную логику исторического процесса. Для них очевидным представляется, что дружба народов – это хорошо. Но что препятствует утверждению этой позитивной ценности, остается непонятным. Между тем культурология и цивилизационный анализ, на наш взгляд, дают возможность ответить на поставленный вопрос.

Прежде всего, любой этнос представляет собой самоорганизующуюся целостность. Формируя этническое сознание, культура закладывает в ментальность носителей этого сознания установку на дистанцирование от других этносов. В одних случаях она выражена сильнее, в других – слабее, но присутствует всегда. В культуре любого народа имеются анекдоты о соседних народах. Причем речь идет именно о соседях. К примеру, в России трудно найти анекдоты об австралийцах или аргентинцах. Насмешливое отношение к соседу легко разделяется всеми. Помимо этого, между этническими общностями нередко существуют давние исторические счеты. Например, бытовое негативное отношение греков к туркам или поляков к русским опирается на драматический исторический опыт. Одновременно существует и обратное – устойчивая симпатия одного народа к другому, которая тоже опирается на свой исторический опыт. Так, поляки привычно тяготеют к Франции. Связано

² Воеводина Т. О российской нации и дружбе народов [Электронный ресурс] // Завтра. 2016. 4 ноября. С. 3. URL: http://zavtra.ru/blogs/o_rossijskoj_nacii_i_druzhbe_narodov (дата обращения 24.06.2019).

³ Размышления о формуле Дружбы народов России. Круглый стол в Московском Доме национальностей. 2013.19.09 [Электронный ресурс]. URL: <http://bartabo.ru/?paged=2> (дата обращения 13.06.2019).

это с тем, что в свое время Франция, противостоявшая Пруссии и Австро-Венгрии, поддерживала польскую эмиграцию. В 1807 г. Наполеон создал Варшавское герцогство, в котором поляки видели прообраз воссоздания Польши. Корпус Домбровского воевал вместе с французской армией. Этот момент отражен в польском гимне «Мазурка Домбровского», второй куплет которого в русском переводе звучит так: «Марш, марш, Домбровский! Из Италии в Польшу! / С народом и страной, / Жить одной судьбою!» Отсюда устойчивая франкофилия в современном польском обществе. В Болгарии же традиционно устойчиво позитивное общественное отношение к России, усилиями которой Болгария в 1879 г. освободилась от османского угнетения и стала суверенным государством.

Далее, история свидетельствует об устойчиво негативном отношении к мигрантам в странах пребывания. Как известно, еврейский народ тысячелетия существовал в диаспоре. В. Чериковер, исследовавший историю евреев в эллинистическую эпоху, возводит начало антисемитизма к египетскому жрецу Манефону, жившему в III в. до н. э. [4 с. 532]. Бытовой антисемитизм существует в современных обществах до сегодняшнего дня. Стоит отметить также настороженно-негативное общественное отношение к цыганам. Эти явления можно стремиться изживать, однако надо давать себе отчет в культурно-исторической обусловленности тех или иных межэтнических отношений.

Формы бытования образа «дружбы народов» в советской реальности

Обратимся к тому, в каких формах идея «дружбы народов» присутствовала в советской реальности. Согласно официальному дискурсу, «нерушимый» Советский Союз был образован согласно воле народов, его создавших. Важно понимать, что «союз нерушимый» возник после большевистской революции. Ленин называл Российскую империю «тюрьмой народов». Авторство этого фразеологизма принадлежит маркизу Де Кюстину («Россия в 1839 году»). К середине 30-х гг. прошлого века формулировка «Россия – тюрьма народов» была преобразована в «царизм – тюрьма народов», а политика царского правительства характеризовалась как «полуколониальная». В процессе становления СССР был снят тезис о «единой и неделимой России». Регионы бывшей Российской империи, входившие в новое государство, обрели статус союзных или автономных республик. В каждой из республик (нередко на равном месте) формировался общекультурный комплекс – художественная

литература, театр, опера и балет, создавались национальные научные центры, открывались киностудии, высшие учебные заведения. В республиканских школах преподавались национальные языки при условии обязательного освоения русского как «языка межнационального общения». Многие бесписьменные народы получили свою письменность с использованием кириллицы. Все это способствовало утверждению и распространению формулы «нерушимая дружба советских народов» как одного из главных завоеваний советской власти. У «нерушимой дружбы советских народов» складывался и внешний пояс: дружба с народами, избравшими путь построения социализма. Отражением этой официальной дружбы служили слова песен «Москва-Пекин»: «русский с китайцем – братья навек / крепнет единство народов и рас» и «Куба – любовь моя!».

Базовые понятия, лежавшие в основаниях мифологии «нерушимой дружбы», формировались на уровне марксистско-ленинской теории усилиями специалистов по историческому материализму и научному коммунизму и прорабатывались в исследовательских институтах. Что же касается политического руководства, идеологических работников, деятелей культуры, то они распространяли эту идеологию с использованием эстетических и стилистических норм, главенствовавших в советском информационном пространстве.

Значимой компонентой исследуемой нами идеологической конструкции был образ «старшего брата», т. е. русского народа. Это нашло свое отражение в первом куплете гимна: «Союз нерушимый республик свободных / сплотила навеки Великая Русь». В этой же связи вспоминается, что текст гимна Советского Союза написали два поэта – Михалков и Эль Регистан. Вполне возможно, что здесь мы имеем дело с добровольно сложившимся авторским коллективом. Однако, если Сергей Владимирович Михалков воспринимается как русский, то Габриэль Эль Регистан – армянин. И здесь также постулируется символическое единение советских народов вокруг гимна страны. Под «старшим братом» понимался русский народ. Смысловое поле понятия «старший брат» двойко. Он и старший, и главный. В виду имелось следующее: русский народ – самый многочисленный в СССР; именно Русь «сплотила навеки союз нерушимый». Столица России – столица СССР. Остальные народы выступали в качестве «младших братьев». На советских плакатах, иллюстрировавших эту идеологию, «старший брат» обычно стоял в центре композиции, а слева и справа от него соответственно «младшие братья» – украинец, грузин и представители других народов. Различие четко задавалось традиционной национальной одеждой. Образ нерушимого союза обретал наглядную форму. В кинофильмах, посвященных будням нашей армии, герой

фильма, русский рядовой, дружит с армянином или грузином. И это – частное выражение дружбы народов. Вспомним, что Знамя Победы над рейхстагом водрузили сержанты Егоров и Кантария. Здесь «коренной» русский Егоров соседствует с грузином Кантария, который был выбран далеко не случайно. Такой союз тоже был призван демонстрировать дружбу народов.

В официальном советском искусстве существовал особый жанр – праздничный концерт. Концерт этот давали по самым разным поводам (завершение очередного съезда КПСС, день Советской армии и т. д.) и показывали по телевидению. В таком концерте в обязательном порядке предполагалось выступление исполнителей или коллективов, представляющих республики СССР. Единение советских народов являло себя на праздничной сцене. Эти концерты были государственно значимыми событиями; программу составляли и оттачивали крупные чиновники. А для любого исполнителя попасть в обойму приглашенных на праздничные концерты было существенной карьерной вехой.

Сложность формирования «нерушимой дружбы народов» обуславливалась тем, что в Советском государстве и обществе оказались собранными вместе фрагменты трех мировых религий и соответственно трех локальных цивилизаций – православной, исламской и протестантско-католической. Их сущностное единение было возможно только при условии утраты исходного системного качества и формирования новой сущности. Так это и мыслилось советскими идеологами. В 1961 г. на XXII съезде КПСС эта конструкция получила свое название: «новая историческая общность – советский народ». Тезис о нерушимой дружбе советских народов повторялся тысячекратно по самым разным поводам и звучал как символ веры. Лучшее всего эта теза воспринималась в РСФСР, в районах с доминирующим русским населением. Люди, регулярно смотревшие телевизор, были убеждены в существовании дружеских отношений между народами, и для них сообщения о конфликтах на национальной почве, разворачивавшихся под конец перестройки, стали совершенной неожиданностью. Русские, жившие в национальных республиках, сталкивались с куда более сложной и неоднозначной ситуацией.

Этнические русские веками расселялись по всей стране. Особенно интенсивно это происходило в советское время, поскольку было связано с созданием промышленности в республиках и с необходимостью распределения квалифицированных кадров врачей, учителей, преподавателей по регионам. В столицах союзных республик на улицах люди по преимуществу разговаривали по-русски. Русские приносили с собой свои привычки, образ жизни, стиль об-

щения. Русский человек везде чувствовал себя «старшим братом». Мало кто осваивал местный язык и был склонен включаться в местную культуру. В свою очередь далеко не все жители республик благожелательно принимали происходившие перемены. В советской картине мира альтернативная позиция, враждебная «дружбе советских народов», носила обозначение «буржуазный национализм». Это позиция старше Ленина и восходит к основам марксистского учения, согласно которому пролетариат по своей природе интернационален. А буржуазия создает нации, дробит рабочий класс по национальным группам, противопоставляет одни народы другим. За «буржуазный национализм» исключали из партии и преследовали. В послевоенную эпоху эта формулировка звучала реже, но оставалась в арсенале советских идеологов.

В истории с «нерушимой дружбой» проявилась одна из универсальных закономерностей эволюции советского общества. Миф о «нерушимой дружбе» идеально адресовался мигранту первого поколения, человеку с неполным средним образованием, свято верившему советским средствам массовой информации, а позже видевшему мир глазами телевизора. Смена поколений, изменение социально-культурной структуры советского общества формировали другие общественные запросы и предполагали иной уровень обсуждения заявленных проблем.

Кризис и снятие идеологемы «дружбы народов»

Золотой век мифа о «нерушимой дружбе советских народов» заканчивается во второй половине 60-х гг. Всеобщее среднее образование и массовое высшее, транзисторные радиоприемники, возникновение диссидентского движения, самиздат – все это диктует иную картину мира, другие интересы, другой язык и другие способы получения информации. Мифологическое сознание постепенно отодвигается на периферию. О том, что «они нас не любят», массовый россиянин знал и раньше. Но это виделось как факультативное наблюдение, не колеблющее основных идеологических установок. Между тем в советских республиках либо существовала, либо складывалась национально ориентированная интеллигенция. Такая интеллигенция всякий раз оказывается силой, запускающей процессы национального самоопределения. Публицисты, писатели, ученые собирали этнографические данные, создавали научные труды по истории и культуре своих народов, преломляли историю в литературно-художественных формах. Писатели стремились

выразить дух своего народа, указать на то специфическое, уникальное, что отличает его от других. Иными словами, они пробуждали национальное самосознание, способствовали его становлению и развитию. В XIX в. описанные процессы шли главным образом в Западной и Центральной Европе. В XX в. они пришли на российскую и советскую почву. Добавим: в секулярную эпоху национальное сознание часто оказывается замещенной формой религии.

Между тем «нерушимая дружба народов» мыслилась советскими идеологами как фактор формирования единой коммунистической нации. В 60-е гг. в советском идеологическом языке появляется формулировка «расцвет и сближение социалистических наций». Перспектива «расцвета и сближения» отрицала процессы национального становления. Таким образом, национально ориентированная интеллигенция потенциально оказывалась в стане противников советского проекта. По идеологическим и цензурным соображениям авторы этого круга были вынуждены говорить иносказаниями. Ярким примером такого художественного творчества является образ Манкурта, созданный Чингизом Айтматовым в романе «И дольше века длится день». Манкурт – человек, утративший собственное сознание и врожденную идентичность, раб, полностью подчиненный хозяину и не помнящий ничего из прежней жизни. С самого начала слово «манкурт» употреблялось для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своем родстве. На фоне доминирования советской идеологии в республиках формировалось национальное (этнокультурное) самосознание и складывались группы носителей этого миропонимания. В том числе и в РСФСР. Отсюда и борьба государственной власти с «великодержавным шовинизмом». Однако степень сформированности национального самосознания в разных регионах страны существенно различалась. Одни народы, входившие в СССР, имели опыт независимой государственности, опирались на зрелую национальную культуру. Другие народы мыслили себя родами и тейпами, у третьих самоидентификация формировалась в пределах той земли, на которой жили эти люди. В 60–70-х гг., когда диссидентское движение оформилось как реальность позднесоветской жизни, в самиздате и тамиздате активно обсуждались идеи российских националистов (например, сборник «Из-под глыб»)⁴. Из самых известных авторов, принимавших участие в обсуждении таких вопросов, можно назвать А.И. Солженицына. Идеи Солженицына сводились к объединению трех славянских народов – русских,

⁴ Из-под глыб: Сб. статей. Paris: YMKA-PRESS, 1974. 276 с.

украинцев и белорусов, включая часть территории Казахской ССР, где большую часть населения составляли русские. Остальные народы СССР, в соответствии с его позицией, могли идти своим путем [5].

Советский этап российской истории задал еще один цикл обаяния идеей растворения всех без остатка в «русском море». Тезис о «расцвете и сближении социалистических наций» понимался таким образом, что все эти братья однажды сольются с русским народом. Данная идея гораздо старше советской власти. Еще с трибуны Государственной думы четвертого созыва (1912–1917 гг.) архиепископ Николай возглашал следующее: «Историческая задача России и русского правительства, гражданского и церковного, состоит в том, чтобы обрусить все нерусское и оправославить все неправославное» [6 с. 292]. В советской внутренней политике цели усиления русскоязычной компоненты и присутствия русской культуры и образа жизни последовательно реализовывались с начала 30-х гг. (отмена политики «коренизации») до перестройки. Заметим, что научная и художественная литература, созданная за рубежом, переводилась главным образом на русский язык. Она издавалась большими тиражами и распространялась по всей стране. Для всех граждан СССР русский язык был единственным окном в мир. Высшее образование и наука также были организованы по преимуществу на русском языке. «Расцвет и сближение социалистических наций и народов» [7 с. 40–50] лежал в ряду других синкретических постулатов советской эсхатологии: слияние города и деревни, слияние умственного труда и физического, отмирание государства, т. е. прекращение деления людей на носителей власти и подвластных. Предполагалось, что в коммунистическом раю все сольется со всем в нераздельную и однородную синкретическую массу. В синкретическом единстве и слиянии всего со всем архаическое сознание провидело конуры рая.

Однако сохранялась проблема общения «младшего брата» со «старшим». «Младший» должен был терпеть и уступать в конфликтных ситуациях. В советском повседневном лексиконе активно использовались негативные обозначения «младших братьев» (чурки, чучмеки, халаты и пр.). Главная претензия к «ним», выражавшаяся в бытовом общении, состояла в том, что «мы» строим, работаем, кормим «их», а «им» все мало. «Иногородцы» же устойчиво демонстрировали «неблагодарность» и отчуждение от «старших братьев». Проблемы в межнациональных отношениях существовали и в союзных республиках.

Дисбаланс накапливался, и во время перестройки эту систему межэтнических отношений прорвало. Житель метрополии обна-

ружил, что помимо отношений «русский–нерусский» существует масса проблем и застарелых счетов в союзных республиках. Развернулись армяно-азербайджанское противостояние из-за Нагорного Карабаха, движение крымских татар за возвращение в Крым. Из Ферганы узбеки изгоняли турок-месхетинцев. Позднее в Анджане узбеки преследовали евреев и армян. Межэтнические конфликты разворачивались в Абхазии, Южной Осетии, Азербайджане. «Нерушимая дружба народов» оказалась фантомом. Во многих союзных республиках обретало силу движение за выход из СССР. Постсоветская эпоха окончательно добила концепт «дружбы народов». В Приднестровье русские воевали с молдаванами. Армяне воевали с азербайджанцами за Карабах. Грузия воевала с Осетией и Абхазией (в эту войну в 2008 г. включилась и РФ). В Киргизии дважды происходило резкое обострение межэтнических конфликтов⁵. Помимо силовых эксцессов разворачивались и серьезные идеологические процессы. В ряде постсоветских республик возникли «Институты национальной/исторической памяти» (Украина, Литва, Эстония) или «Музей советской оккупации» (Грузия), в которых история этих народов на этапе их пребывания в рамках Российской империи и СССР интерпретировалась в духе, далеком от любых версий «дружбы народов». Без малого тридцать лет существования государств на постсоветском пространстве трансформировали формулу «нерушимой дружбы народов» в атрибут ушедшей эпохи, когда массовому человеку хотелось верить в общее настоящее и прекрасное будущее.

Литература

1. Мансветов М.В. Сближение наций и возникновение интернациональной общности народов СССР // Вопросы истории. 1964. № 5. С. 38–53.
2. Бестужев-Лада И.В. Дружба народов: миф или реальность? // Экономические стратегии. 2015. № 7. С. 146–153.
3. Коняева Е.В. Содержание и вариативность идеологического концепта «дружба народов» // Политическая лингвистика. 2015. № 2 (52). С. 190–198.
4. Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. СПб., 2010. С. 532.
5. Солженицын А.И. Раскаяние и самоограничение // Из-под глыб: Сб. статей. Paris: YMKA-PRESS, 1974. С. 115–150.

⁵ Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2008 г.: Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2009. 404 с.

6. *Меньшиков М.О.* Письма к русской нации. М.: Изд-во журнала «Москва», 2000. С. 292.
7. *Павлов Г.* Расцвет и сближение социалистических наций // *Коммунист*. 1962. № 18. С. 40–50.

References

1. Mansvetov MV. Rapprochement of Nations and the Emergence of international Community of Peoples of the USSR. *Voprosy istorii*. 1964;5:38-53. [In Russ.]
2. Bestuzhev-Lada IV. Friendship of Peoples Myth or Reality. *Ekonomicheskie strategii*. 2015;7:146-53. [In Russ.]
3. Konyaeva EV. Content and Variability of the Ideological Concept “Friendship of Peoples”. *Politicheskaya lingvistika*. 2015;2:190-98. [In Russ.]
4. Cherikover W. *Hellenistic Civilization and the Jews*. Sankt-Petersburg, 2010. [In Russ.]
5. Solzhenitsin AI. Repentance and self-restraint. V: *From under the Boulders*. Collected papers. Paris: YMKA-PRESS, 1974. p. 115-50. [In Russ.]
6. *Menshikov MO.* *Letters to the Russian Nation*. Moscow: Izdatel'stvo zhurnala “Moskva” Publ.; 2000. [In Russ.]
7. *Pavlov G.* The Rise and Convergence of the Socialist Nations. *Kommunist*. 1962;18:40-50. [In Russ.]

Информация об авторе

Игорь Г. Яковенко, доктор философских наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; Россия, 125993, Москва, Миусская пл., д. 6; igjack@yandex.ru

Information about the author

Igor G. Yakovenko, Dr. of Sci (Philosophy), professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq. Moscow, Russia, 125993; igjack@yandex.ru

УДК 373.3(47-87)

DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-40-64

Между памятью и улицей: букварь в русской эмиграции как литература (не)возврата

Наталья Б. Баранникова

*Академия социального управления, Московская область,
Россия, barannikova@mail.ru*

Виталий Г. Безрогов

*Институт стратегии развития образования РАО,
Москва, Россия, bezrogov@mail.ru*

Аннотация. В статье представлены учебники для начального обучения, изданные на русском языке в 1920–1930-х гг. в русском зарубежье: Германии, Эстонии и Польше. Рассмотрены предлагаемые в них решения вопроса о нахождении педагогами эмиграции своего места в образовательном контексте стран рассеяния: от учебника как заповедного места для культуры, вывезенной с родины, до учебника, в той или иной степени налаживавшего диалог с окружающим русскоязычным меньшинством основным населением. Полученные результаты дополняют исторические реконструкции культуры российской эмиграции первой волны и одновременно могут быть учтены при исследованиях культурной трансмиссии в различных других эмигрантских и меньшинственных сообществах.

Ключевые слова: букварь, начальное обучение, эмиграция, беженцы, Е. Акинфиева, З. Дормидонтова, К. Кириллов, С. Павлович

Для цитирования: Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г. Между памятью и улицей: букварь в русской эмиграции как литература (не)возврата // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 40–64. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-40-64

Memory and/or the street? Russian émigré textbooks as (non)return literature

Natalya B. Barannikova

Academy of Public Administration, Moscow region, Russia, barannikova@mail.ru

Vitaly G. Bezrogov

*History of Education Dept, Institute for Strategy and Theory of Education,
Moscow, Russia, bezrogov@mail.ru*

Abstract. In the article the Russian textbooks for primary education, compiled and published by Russian refugees and minorities outside Russia in Germany, Estonia and Poland in the 1920s – 1930s were analyzed. The proposed solutions to define émigré teachers their places in the educational context of the host countries have been considered. We reconstruct the wide spectrum of such educational projects from the textbook as a protected place for émigré heritage culture, taken from the homeland, to the textbook, in varying degrees trying to establish a dialogue with the majority population surrounding Russian-speaking minority. The results could be used in the historical reconstructions of the culture of Russian emigration of the first wave and at the same time can be taken into account in the study of cultural transmission within various other emigrant and minority communities.

Keywords: primer, elementary education, emigration, refugees, Evgeniya Akinfiyeva, Zinaida Dormidontova, K. Kirillov, Sergej Pavlovich

For citation: Barannikova NB., Bezrogov VG. В рамочку Memory and/or the street? Russian émigré textbooks as (non)return literature. *RSUH / RGGU Bulletin. "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies" Series.* 2019;8:40-64. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-40-64

Введение: «сердце имеет свои резоны»¹

В том случае, когда учебник создается людьми, оказавшимися вне родины, культуропорождающая функция учебника подчас виднее. На родине культура рождает язык и обучение. В эмиграции, наоборот, язык и обучение рождают культуру [2–6]. Аналогичные процессы наблюдаются и у внезапно возникающих меньшинств, когда, например, часть большого государства обретает самостоятельность и представители господствовавшего этноса понижаются в статусе до меньшинства. Учебник в эмиграции или

¹ Фраза С. Холла [1 с. 223].

замораживает память и культуру предшествующего времени, или развивает ее на новом месте в диалоге с соседями. Проблема включения или исключенности эмигрантов из культуры страны пребывания, степени замкнутости эмигрантских сообществ, судьбы этих сообществ и успешности индивидуальных биографических стратегий их членов напрямую зависит от сохранения, трансформации, передачи культурных ценностей, групповой памяти, образцов поведения, отношения к языку утраченной родины, от грамотности и ориентации в текстах ее литературно-дидактического канона [7]. Учебник во многом определяет характер, удельный вес, направления и структуру взаимодействий подрастающего поколения с эмигрантским либо меньшинственным микросообществом группы и с макросообществом принявшей эмигрантов страны. Учебники могут интегрировать в макросоциум и входящие в него микросоциумы (подавляя или развивая связь с ними), а могут интегрировать в микросоциум вне его связи с макросоциумом. В связи с этим изучение учебников, подготовленных эмигрантами и меньшинствами для собственных детей, представляет важную и многомерную научную задачу для истории роли образования в (дис)адаптации беженцев, а также для интерпретации современных проблем в обучении мигрантов традициям разных культур, билингвизма, приобретения гибкой, переходной или мультикультурной идентичности². Результаты ее решения могут быть полезны как для исследователей и авторов учебников, так и для культурологов, социологов и психологов при изучении культурной трансмиссии среди мигрантов и поиске новых проектов их адаптации, интеграции либо инклюзии в контексте образования и культуры страны пребывания.

В данной статье прослежены четыре типичных случая в русскоязычном эмигрантском учебном книгоиздании 1920–1930-х гг. Рассмотрены только учебники для начального обучения грамоте как наиболее нагруженные общекультурным, а не специально предметным материалом. При их анализе использованы различные методы генетического, текстологического, лингвистического,

² Изучение идентичности не как сущности, а как в культурном калейдоскопе создаваемой позиции, речевых биографий в мультилингвальном и поликультурном пространстве, самоназваний эмигрантских групп, особенностей в развитии родного языка и применении языка страны пребывания и многих аналогичных вопросов можно напрямую связать с теми учебными текстами, которые распространяются в том или ином поколении и для изучения как своего языка, так и языка большинства, но одновременно и как руководства по нахождению и репрезентации идентичностей.

нарративного, дискурсного, терминологического контент-анализа, а также методы визуальных исследований. Сформировано понимание спектра возможностей русскоязычного учебного книгоиздания, его конкретно-исторических вариантов, его участия в истории эмигрантского образования и участия в жизни русскоязычных меньшинств в Германии, Эстонии, Польше.

Букварь «Хочу читать!» Е. Акинфиевой, опубликованный в Берлине в 1922 г.³, создавал атмосферу «заповедника памяти». Основной контент пособия строился на основе образов и культурных традиций утраченной родины. «Азбука» З. Дормидонтовой, изданная в Ревеле в 1921 г.⁴, искала пути диалога русскоязычного населения с окружением. «Русская азбука» К. Кириллова⁵ и «Русская грамота» С. Павловича⁶, вышедшие в Польше в 1930-е гг., предложили гибридные варианты путей поиска эмигрантским меньшинством своего места в образовательном поле. Они так или иначе учитывали соседство иноязычных культур.

Поиски шли в пространстве между учебником как инструментом социальной инклюзии в контекст страны пребывания и учебником как средством социальной эксклюзии, созидающим заповедный остров ради возврата в состав титульного большинства родины [8,9]. Удельный вес изданий для детей и учебников в эмигрантском мире был значительно больше того места, которое им обычно уделяется в литературе по эмигрантике [10–20]. Содержание всех пособий опиралось на словарь и образы, свойственные России до 1917 г. Однако они по-разному настраивали ребенка на восприятие потерянного наследства, сохраняемого наследия или находимого в обучении контакта с будущим.

³ Акинфиева Е. Хочу читать! 1-е изд. Берлин: А. Терне, 1922. 64 с.; *Она же*. Хочу читать! 2-е изд. Берлин: О. Кирхнер и Ко, 1922. 62 с.

⁴ Дормидонтова З.Н. Азбука. Ревель: Варрак, 1921. 80 с.

⁵ Кириллов К.М. Русская азбука в картинках. Варшава: Л. Индицкий, 1930. 64 с.

⁶ Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи: Букварь для обучения письму и чтению, составленный по новейшему методу и по новой орфографии, с указанием особенностей старой орфографии. Вильно: Культурно-просветительная комиссия Совета Союза русских меньшинственных организаций в Польше, 1936. 112 с.; *Она же*. Русская грамота для школы и семьи: Букварь для обучения письму и чтению, составленный по новейшему методу и по новой орфографии, с указанием особенностей старой орфографии. 2-е изд. Вильно: Культурно-просветительная комиссия Совета Союза русских меньшинственных организаций в Польше, 1938. 112 с.

*Германия: монолог букваря «Хочу читать!»
Евгении Акинфиевой*

О биографии Евгении Акинфиевой мы, к сожалению, ничего не знаем: ни отчества, ни дат жизни. Она учительствовала в эмигрантском Берлине в 1920-х гг. По-видимому, эмигрировала в Германию примерно в 1919–1920 гг. Тема эмигрантов отражена специально в ее букваре. К букве «э» дано слово «эмигрант», а в виде фразы для первого чтения его краткое определение: «Эмигранты живут за пределами своего отчества». В иллюстрации к этому слову изображена семья эмигрантов. Двое взрослых и двое детей пешком пересекли границу, оставив и землю, и православную церковь (изображена вдалеке). Взрослые отдыхают на обочине грунтовой дороги. Дети играют в пыли рядом. Автор адресует свой учебник беженцам с родины. Акинфиева принадлежала к «полным» эмигрантам, сознательно поменявшим страну проживания из-за несовместимости с установившимся на родине новым политическим режимом. Ей необходимо было и лично, и профессионально вновь найти себя. Она создает «остров русскости» в эмигрантском городе.

Букварь «Хочу читать!» в Берлине был издан в 1922 г. дважды – сначала в старой, потом в новой орфографии. Его популярность и одновременный переход к новому письму обусловили многочисленные просьбы пользователей о переиздании учебника по обновленным правилам. Перемена орфографии не означала перемены позиции автора в отношении жизни эмигрантов в Германии. Ее учебник направлен на сохранение в ребенке культуры утраченной страны, на воссоздание в детях «как тогда» ради возврата в «тогда», когда оно снова наступит.

Уже обложка учебника устанавливает связь ребенка не с повседневной жизнью в эмиграции, но с его далекой родиной. Изображены читающие девочка и мальчик в окружении средне-русской природы. Они сидят на опушке. Мальчик в матроске, принятой в дворянских семьях. Девочка, которую он обнимает, в крестьянском сарафане или платье. Оба читают учебник, в который с неба падают прилетевшие «из-за моря» с родины кириллические буквы. Каждую приносит предмет, с нее называющийся. Алфавит объединяет учеников со всем мирозданием: небом, землей, водой, полем, лесом, чтением, культурой. Чтение на родном языке гармонизирует мир и превращает его в возрожденную Россию. Оно возвращает своих людей, их речь и соответственно культуру и бытие в еще нетронутую большевиками страну.

Букварь нацелен на рассказ и показ только «русскости». Автор пишет в предисловии:

Книга выходит в то время, когда дети, которые будут по ней изучать грамоту, уже 3–4 года как являются оторванными от своей родины и следовательно ее почти не знают. При таких обстоятельствах перед автором стала задача... показать ребенку в словах и изображениях по возможности лишь русскую жизнь, пробудить его интерес к родной земле и облегчить в этом отношении родителям задачу его воспитания в национальном народном духе⁷.

Автор выражала доминирующую тогда среди «чистых» эмигрантов точку зрения, что ребенка следует обучать и воспитывать только на утраченном, дабы сохранить шанс к продолжению и возрождению.

Акинфиева нацелена на сплачивание эмигрантского сообщества. Эта стратегия шла в противовес его «размыканию» для русско-немецких контактов. В замкнутом анклаве была резко повышена степень «межпоколенной культурной трансмиссии», направленной на (с)охранение традиции о прошлом. В нем жили, надеясь выжить и возродить родину [9 с. 88]. В учебник «Хочу читать!» заложено монокультурное преподавание языка возврата и реставрации.

В 1920-е гг. такая интенция в Берлине преобладала. В 1930-е она начала размываться. Показательно, что Немецко-русская школа (Deutsche-Russischen Höheren Schule), созданная на основе объединения в 1931 г. школы св. Георга в Вильмерсдорфе и школы в Шарлоттенбурге, опиралась в своей практике на активное двуязычие учащихся, что, вероятно, соответствовало если не духу, то времени [21].

Букварь Акинфиевой не знает диалога со страной пребывания. Его отсутствие отражает на уровне учебника ту особенность многих эмигрантских анклавов русских в Европе, когда выстраивался такой образ жизни, в котором как бы совсем незаметна нация, рядом с которой живут изгнанники. Эмигранты в Париже, Берлине, Белграде и других городах вели себя так, словно рядом не существовало ни французов, ни немцев, ни сербов⁸. Поэтому большинство географических и личных имен в учебнике – российские («Россия–

⁷ Акинфиева Е. Хочу читать! 1-е изд. Берлин, 1922.

⁸ Например, Р.В. Полчанинов пишет в своих воспоминаниях, что сербский язык никак не изучался в русских учебных заведениях, вывезенных в Сербию [22].

наша родина», Нева, Кама, Волга, «Киев—мать городов русских»; Алеша, Андрей, Борис, Боря, Вавила, Варвара, Вася, Вова, Галя, Ганя, Герасим, Гриша, Даша, Елена, Женя, Зина, Иван, Коля, Лева, Лиза, Липа, Луша, Маланья, Маша, Митя, Миша, Мишуха, Мура, Надя, Наташа, Никита, Николай, Нина, Нюра, Оля, Павел, Павлуша, Паша, Петя, Раиса, Савва, Саша, Сережа, Сима, Федот, Фекла, Шура, Юра, Яков, Яша). В этом обилии полностью теряются единоразово упомянутые немка Ева и француз Жорж.

Букварь демонстрирует ученику среднерусскую природу, ушедшую дворянскую и крестьянскую культуру. Большинство иллюстраций показывают деревенский быт в России: избу в разные времена года, ее интерьер, танцы рядом с избой, старую женщину на завалинке у входа, жатву, отставного солдата, обучающего детей под березой у сарая, и т. д. Другие реалии, тоже хорошо узнаваемые, российские: казак на лошади, здание русской православной церкви – и самой по себе, и покидаемой эмигрантами⁹, и т. п. Только два небольших рисунка выбиваются из основного визуального ряда: трубочист¹⁰ и дом, в котором ему работать¹¹.

Детство русскоязычного жителя Берлина 1922 г. для Акинфиевой – это детство до 1917 г., «детство до» вместо «детства после». Принцип «задом наперед» характерен для многих букварей зарубежной России. В них возникает своего рода «постсубъектность» ученика, когда педагог, опирающийся на воспоминания, рождает учебник для детей, стремясь сформировать у них по возможности ту же субъектность, какая была у него – ребенка до революции, но в ситуации «пост».

Русский язык становится в данном случае такой «одеждой», которая предохраняет обучаемого от окружающего мира и ведет его в сконструированный «детский отсек» эмигрантского корабля. Язык становится стенками ковчега, в котором можно переждать захлестнувший родину потоп. Родная грамотность представлена в нем основой всему. В контексте учебника об этом говорят слова Л. Майкова:

Посмотри: в избе мерцают, / Светит огонек; / Возле девочки-малютки / Собрался кружок. / И с трудом, от слова к слову / Пальчиком вода, / По печатному читает / Мужичкам дитя. / Что-ж так слушают малютку? / Иль уж так умна? / Нет, одна в семье умеет / Грамоте она¹².

⁹ Акинфиева Е. Хочу читать! 2-е изд. Берлин, 1922. С. 46, 47.

¹⁰ Там же. С. 26.

¹¹ Там же. С. 31.

¹² Там же. С. 56.

К тексту дана иллюстрация – читающая девочка за столом в избе. Ее слушают трое взрослых и особенно внимательно – мальчик чуть помладше чтицы. Русскость, по мнению изгнанников, коренится в сельской дореволюционной культуре. Мальчик в косоворотке – своего рода «Ванька Жуков наоборот», не отправленный в растленный город к пролетариям, разрушившим Россию, но сохранившийся в деревне чистым и тянущимся к учению.

Учебник Акинфиевой опирается на идею необходимости сильного вертикального взаимодействия поколений, максимального доверия к старшим. Защита внутри семьи, онтологическая значимость негативных последствий непослушания делается средоточием читательского внимания. В эмигрантском сообществе решение вопроса о контроле за поведением детей представляло серьезную проблему. Младшие не понимали необходимости эмиграции. «Зачем вы меня сюда привезли?» – вопрос звучал в глазах детей, и взрослым необходимо было найти на него ответы. Тем более что старшие воспринимались как неудачники в глобальном и местном масштабе [23; 24 с. 123]. Из-за психологических проблем травмы исхода и экстремальной занятости, ограничения в ресурсах у взрослых почти не оставалось сил на детей, на конструирование ближайшего пространства для их развития. Повсеместны безнадзорность, проблемы с воспитанием и поведением, гениально и лаконично обрисованные, например, в рассказах Н.А. Тэффи.

Разорванность или, наоборот, сохранность семейных связей у эмигрантов по-разному влияла на их социальную инклюзию либо эксклюзию в принимающем обществе. Интеграция в новый мир происходила легче при слабости внутрисемейных и внутрианклавных уз поддержки. Наличие сильных межпоколенческих связей помогало консервации подрастающих поколений внутри памяти о традициях и потерях. Беженцы 1920-х гг. очень важным полагали сохранить себя, не потеряться в денационализации. Подчеркнутые в букваре связи родителей и детей компенсировали чувство вне-находимости. Они создавали «детство на острове», которое могло существовать только внутри эмигрантской субкультуры. В семье видели цитадель, школу и церковь, а школу преобразовывали в церковь, семью и цитадель. Внутренний режим многих русских школ за рубежом имел с последней явное сходство.

Центром «сопротивления» ассимиляции и растворению была выбрана семья. Поэтому одним из главных в букваре дано стихотворение А. Плещеева о матери. Оно помещено вместе с иллюстрацией, изображающей мать как ангела над люлькой в дворянской семье. Показан ребенок, родившийся после исхода. Пришедший в мир без прислуги. Обретший защиту и заботу в маме. Тема матери

и семьи проходит через многие тексты букваря. Первое слово в букваре – «мама». Рядом с молящимся ребенком на другом рисунке на той же странице изображена кормящая младенца мать¹³. Первая фраза – «Мама сама». Рядом с этой фразой – рисунок сердца¹⁴. Образ мамы следует далее по всему букварю. Прорабатывается ощущение безопасности, которое при маме, в родном доме, среди своих. И ответное к ней отношение: «У Оли мама. Мама мила»¹⁵. Сопоставляются статусы: «Мама мила, а Саша мала»¹⁶.

В центре раздела «Статьи для связного чтения», который следует после изучения алфавита и словообразования, находится рассказ «В семье».

В семье. У Коли и у Жени папа имел всегда много работы, был очень занят. Мама была болезненная и слабая. Но все-таки, когда дети возвращались домой из школы, – они чувствовали себя всегда очень счастливыми. Они бежали к матери рассказывать, что они делали в школе, смеялись, шалили. Мать с радостной улыбкой слушала и ласкала их. Услышав детский говор и смех, отец оставлял свою работу и выходил к детям. Дети бежали к нему навстречу, обнимали и целовали его. Мгновенно с его усталого лица исчезала грусть, и он шутил и играл с детьми. Затем он с новыми силами принимался за работу. Дети затихали и не шумели, боясь помешать работе отца¹⁷.

Идеализированная (но не идеальная) картина семьи как центра, единства и опоры для всех ее членов, материализованная из замороженной памяти, сделана парадигмой всего учебника. Опора на связь поколений, на внимание старших к младшим и главное – на почтение младших к старшим заявлена фундаментом эмигрантского детства.

Семья является защитой от всего. Об этом текст «Утром», «заколдовывающий» ребенка на устойчивость ко всем событиям предстоящего дня:

Я просыпаюсь утром в своей теплой постельке. Мама одевает меня, потом моет и причесывает мне волосы. Причесав и умыв меня, она заставляет меня молиться Богу. Я повторяю за ней слова молитвы. Помолвившись Богу, я говорю папе и маме «доброе утро» и иду пить

¹³ Акинфиева Е. Хочу читать! 2-е изд. С. 2, 8.

¹⁴ Там же. С. 9.

¹⁵ Там же. С. 12.

¹⁶ Там же. С. 13.

¹⁷ Там же. С. 60.

чай. Мама делает мне вкусные бутерброды и чай наполовину разбавляет сливками. Я очень люблю и то, и другое. Папа часто рассказывает мне разные интересные истории из Нового и Ветхого Завета, а также про самых древних людей. Я очень люблю моих родителей¹⁸.

Первичная группа – семья – оказывается тем миром-вселенной, покинуть который невозможно даже при временном уходе в школу (эквивалент семьи) или на прогулку. Она определяет все на свете и воплощает все на свете, не порождая интерес к выходу из нее и не подготавливая к этому. Мир самостоятельной прогулки или полета объявляется опасным для жизни. Образы съеденного в лесу козленка, заблудившегося ребенка, попавшей в тенета паука мухи наставляют не покидать безопасных пределов малой группы и ее заботливых взаимоотношений [4–6].

Детство заявлено реальным детством тогда, когда переносит ребенка во времена детства его родителей. Ключевой текст, характерный для многих дореволюционных букварей и помещенный здесь:

Гнедко. У нас есть лошадка гнедой масти; зовем мы ее Гнедко. Она спокойная и смиренная. Папа сегодня позволил нам прокатиться на ней. Коля и Надя взобрались на спину к Гнедко. Митя покормил его сеном, а я взял его за узду и повел со двора в поле. Гнедко осторожно вез своих седоков, как-бы боясь уронить их. Коля и Надя были веселы и от радости хлопали в ладоши. Когда они вдоволь покатались, я снял их с лошади. Мы принесли Гнедко несколько кусков сахара и угостили им его. Сахар Гнедко ест охотно, так же как и хлеб¹⁹.

Текст и рисунок к нему переносят учеников в детство составителя букваря. Так или иначе, букварь-заповедник предоставляет возможность «переждать» в пространстве языка и памяти до момента возвращения. И в этом смысле он принадлежит к «литературе возврата». Противоположен ему учебник, напечатанный в Ревеле (Таллине).

Эстония: диалог «Азбуки» З.Н. Дормидонтовой

Зинаида Николаевна Дормидонтова (1885–1975) родилась и выросла в семье учителя и православного священника, расстрелянного в 1919 г. большевиками. Обучала русскому языку [25].

¹⁸ Там же. С. 45.

¹⁹ Там же. С. 40–41.

Подготовила серию учебников, опубликованных в 1920–1921 гг. (хрестоматия «Колокольчики», «Русская грамматика», «Азбука»). В 1920–1930-х гг. идентифицировала себя с русским меньшинством Эстонии. Школьных учебников после 1930 г. не издавала.

При настороженной, подчас негативной, оценке действительности [23, 24] учебник Дормидонтовой оптимистически настроен на диалог с инокультурным окружением. Такой задаче отвечают и его тексты, и иллюстрации. Работы Адальберта Штирена (1880–1974) в букваре Акинфиевой показывали утраченную Русь. Иллюстрации Александра Гринева (1892–1947) в «Азбуке», даже «русские сюжеты», изображают в отстраненной манере экзистенциальных сюжетов без отсылки к конкретной стране. Пейзажи невозможно привязать к природе России, но можно соотнести прежде всего с Прибалтикой. Нарисованные постройки принадлежат к разным этническим традициям, но в основном западно- и центральноевропейским. Среди личных имен – Аарон, Аммон, Ирма, Минна, Нора, Эрна. Таким образом, русский язык не связан обязательно с Россией.

Букварь сразу делит пространство на прежнее и нынешнее. Пространство нынешнего бытия другое. Между ним и прошлым пауза пропасти. Нет магии возврата с помощью букв. «Наум рус. Наум с усами. У Наума сила слона, но сам он мал. У Наума ум. Наума ранили. Нил носил Науму рис и манну. Нил с Наумом росли на Руси»²⁰. Однако с теперешним бытием факт роста Наума и Нила на Руси никак не соотносится. В нынешнем времени и пространстве им важно правильно употреблять русские слова. Оно требует специальной лингвистической поддержки. Поэтому в «Азбуке» приведены вопросы на склонение, спряжение, управление, построение фраз.

В пространстве учебника Дормидонтовой тоже идут «споры о России»²¹, о «России-республике»²², просят «Спеть про старину»²³, но азбука не замыкается на России и старинных традициях, не подчеркивает сакральность того языка, которому учит. Учебник создает для ученика возможность осознать себя живущим здесь и сейчас, в открытом мире, подлежащем освоению. Уже на 17-й странице дано название «эсты» – той нации, среди которой ежедневно находятся обучающиеся русскому языку по «Азбуке» Дормидонтовой. В букваре Акинфиевой нет ни одной отсылки к «немцам» и «германцам». Для Дормидонтовой жить в своей стране и на свободе²⁴

²⁰ Дормидонтова З.Н. Указ. соч. С. 11.

²¹ Там же. С. 12.

²² Там же. С. 21.

²³ Там же. С. 15.

²⁴ Там же. С. 65.

совмещается с культурным диалогом разных народов. Несвобода своей страны обосновывает жизнь в других. С этим согласилась бы и Акинфиева. Но собеседовать с местными жителями было для нее ниже допустимого. Для Дормидонтовой – наоборот. Разговор идет вокруг вопросов, которые затрагивают любого. Языки могут быть разными, но темы и сюжеты – общие.

Раздел «Чтение после азбуки» состоит из рассказов и стихов русских писателей. Большинство из них не привязано к конкретному локусу. Есть неподписанный рассказ об извозчиках в Москве²⁵, но тут же встречаем и рассказ В.Г. Короленко о вспахивании земли в Америке²⁶. Остальные 55 текстов данного раздела никак не привязаны географически. Учебник может быть применен в любой европейской русской школе, если она нацелена облегчить связи ученика с его окружением, какое бы оно ни было. Конечно, при сохранении воспоминаний о России.

Польша: чересполосица *К.М. Кириллова и С.К. Павловича*

Если в берлинском учебнике Акинфиевой мы встречаем предыдущую Россию, перенесенную на «бумажных кораблях» учебников в Германию; попытку создать заповедник, ориентированный на неприятие реального окружения; ностальгию острова и формирование на нем мечты о возвращении [6]; если ревельский учебник Дормидонтовой, наоборот, ориентирует вынужденных скитальцев-эмигрантов и лиц, оказавшихся в Эстонии меньшинством, на диалог с культурой и повседневностью страны пребывания, то варшавское пособие К.М. Кириллова и вильненское С.К. Павловича занимают своего рода «среднюю» позицию, частично сохраняя привязанность к утраченному прошлому, а частично создавая настоящее, в котором привязанные к прошлому воспоминания чередуются с картинками и сюжетами, некоторые из которых могли бы происходить в любом месте, а другие происходят в Польше. Диалог с польскими реалиями показан в спокойном, дружественном и позитивном ключе. Это противоречит закрепившемуся в историографии тезису об исключительно тяжелых условиях, в которых находилась русская школа в Польше [26 с. 118–137]. Увольнения, арест Павловича как деятеля белорусской школы, изъятия его учебников как факты реальной биографии не отразились на модели диалога

²⁵ Там же. С. 61–62.

²⁶ Там же. С. 75.

с государством, культурой, экономикой, социальной жизнью Польши, внесенной им в его учебник для русских²⁷. Учебник Кириллова в меньшей степени, но также помещает диалог с польским языком и контекстом в свой текстуральный и визуальный ряд.

Хронологически первой из двух польских изданий вышла «Русская азбука в картинках» Кириллова – по-видимому, дважды: в 1930 (конце 1929) и в 1935 гг. в Варшаве и, вероятно, в Бресте, который в те годы входил в состав польского государства. Выходные данные по месту издания рознятся даже на тираже одного года. Вероятно, учебник печатали частично в Варшаве, частично в Бресте.

Биографические данные о К.М. Кириллове, как и об Акинфиевой, пока не найдены. Даже для дотошных польских библиографов, в чьих собраниях сохранился данный учебник, фигура его автора остается загадкой. Поэтому мы не можем сказать, был ли он эмигрантом или принадлежал к русскому населению Польши, которое с ее возрождением в 1918–1922 гг. как самостоятельного государства оказалось на положении не всегда признаваемого меньшинства. Таким образом, он может быть и собратом Акинфиевой, и собратом Дормидонтовой по своей биографической истории.

Учебник «Русская азбука...» начинается иллюстрированной азбучной частью, где крупные рисунки букв, их печатный и рукописный варианты сопровождаются рисунками существ и предметов, чьи названия начинаются на данную букву, и подписями к ним²⁸. Вполне в духе российских, польских, немецких азбук XIX в. перечень открывает слово «ангел». В ряду предметов наблюдается смешение вещей вне какого бы то ни было контекста (лампа, ножницы, щетка, шило, экипаж, юла), с европейским контекстом (утюг, фонарь, церковь), с российским (хата). Визуальный ряд представляет собой попытку заполнения образного контекста с сильным символическим значением («родная хата» и язык), наблюдаемым в другой культуре предметным интерьерным и архитектурным комплексом. Включен алгоритм переноса понятия «родной дом-хата» на

²⁷ *Маракоў Л.У.* Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991. Энцыклапедычны даведнік: У 10 т. Мінск, 2003. Т. 2. 380 с.; *Он же.* Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і аркоўнаслужыцелі Беларусі, 1917–1967: Энцыклапедычны даведнік: У 2 т. Мінск: Беларускі Экзархат, 2007. Т. 2. 648 с.; Сяргей Канстанцінавіч Паўловіч – беларускі багаслоў, педагог, перакладчык [Электронны ресурс]. Мінск: Беларуская цифровая бібліятэка LIBRARY. BY, 17 февр. 2003, URL: https://library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1045495554&archive=refhis1126089824&start_from=&ucat=& (дата обращения 12.05.2019).

²⁸ *Кириллов К.М.* Указ. соч.

«ставшие своими окружающие предметы». В результате понятие-образ «хата» приобретает метафоричное, неточное определение. Моделируется ситуация, когда любой дом/квартира может через внутреннюю значимость определяться и восприниматься «своей хатой». И в каждом доме/квартире увидят «ту самую хату».

После азбучной части следует краткое чтение по слогам и отдельных слов. Оно переходит в чтение автономных фраз, большинство из которых – пословицы, а небольшая часть – скороговорки. Прием опоры на пословицы в XIX – первой трети XX в. был в учебниках распространен [27,28]. Например, он был применен Л.Н. Толстым в первой версии его «Азбуки». Однако набор пословиц, поговорок и афоризмов у Кириллова иной, не как у Толстого. Среди первых пословиц – темы обучения («Наука не мука») и родины («Своя хатка – родная матка», «Без хозяйна дом сирота»). С первых пословиц подчеркнута тема жизненности доброго начала («Добро не умрет, а зло пропадет»), также нехарактерная для первых пословиц дореволюционных букварей. Лексикон пословиц включает опознаваемые российские реалии (кушак, изба, лапотник, калач). Они встроены в массив пословиц, взятых из словаря В.И. Даля, но так, чтобы поговорки могли быть применимы в любой обстановке и ситуации («Других не суди, на себя погляди», «Ученый водит, а неученый следом ходит» и т. д.). Сборник пословиц обработан так, что результат выборки приложим к новой обстановке и к любым новым реалиям. Они не обозначаются как польские, но создают почти не идентифицируемое пространство (за исключением немногих вышеупомянутых этнических терминов).

За отдельными фразами пословичного блока идут короткие сюжетные прозаические и поэтические тексты – послеазбучная книга для чтения. В нее включены фрагменты народных сказок, популярные отрывки из А.В. Кольцова («Песня пахаря»), К.Д. Ушинского («Плохо без матери: забежал Коля к соседу...»), Д.С. Мережковского («Детям») и других авторов. Собрание авторских текстов в большей степени соотносено с культурным и фольклорным наследием утраченной родины. Однако и данные фрагменты выбраны так, чтобы эта связь не была очевидной и бросающейся в глаза, резко напоминающей о себе. Зимнее катание с гор, примеривание большой отцовской шапки, потеря мамы на ярмарке, картина неухоженных детей вдовца, озноб сиротки, помогающая нести вязанку смерть, страх от звуков теста в квашне, песня пахаря, просьба лошади, картина осени и «нашей коровы», непослушные ягнята, лиса-монахиня, рождественская ель – эти и другие сюжеты, нарисованные русской литературой, могут происходить где бы то ни

было. Среди них нет ни одного, который был бы специфически и однозначно характерен именно для России. За последним текстом в подборке («Детьми» Мережковского) следуют принятые в европейской практике римские цифры, далее таблица умножения, перечень месяцев и алфавитный ряд с фонетическими переводами на польский («Февраль – Люты (Luty)», «Щ щ Szcz szcz»). Если начальный текст о грамотном внуке неграмотного Федота, живущего в деревне («Горе» И.З. Сурикова), вызывал ассоциации именно с российскими реалиями, то далее они ослабевают, а вневременная и внеконтекстная поэзия Мережковского, завершающая текстуральный канон, выводит читателя в общеевропейский пласт рождественских смыслов. Учебник Кириллова выполняет таким образом функцию «детоводителя», который подводит не только своих юных читателей, но и их взрослых наставников и слушателей к той грани, через которую уже можно ощутить пульс жизни в стороне пребывания, но остается еще на той «родной стороне», где Акинфиева. В нем есть следы диалога, но еще нет самого диалога. Это своего рода «слабый транслятор» между «заповедником» букваря «Хочу читать!» Е. Акинфиевой и «собеседником» азбуки З. Дормидонтовой²⁹.

Другой учебник, изданный Культурно-просветительной комиссией Совета Союза русских меньшинственных организаций в Польше, показывает другую версию примерно того же синтеза. Она в большей степени привязывает к прежним российским реалиям, но и довольно резко вводит реалии иного рода. Противостояние прошлого, родного и настоящего прописано намного сильнее. Оно видно и в визуальном ряду учебника, и в его текстуральной составляющей.

²⁹ На такую трансляцию нацелено и соотношение обложки и титула учебника. Однако эта задача выполнена художником своеобразно. Обложка учебника создана в стиле дореволюционных азбук и букварей, а для титула перерисована картинка советского (!) школьного класса с занимающимися детьми и обилием развешанных по стенам графиков, таблиц соревнования, призывов и стенгазет. Возможно, для титула использована иллюстрация либо из журнала, либо из какого-либо учебника, изданного в СССР. В середине – конце 1920-х гг. советские учебники еще могли пересекать границу. Целью такого «сдвига» от обложки к титулу, по-видимому, была задача показать движение времени от начала века к современным реалиям. Рисунок на титуле не подчеркивает, что изображает именно советскую школу, в текстах нет ни слова о новом строе на старой родине, но переход от обложки к титулу явно несет в себе модернизационное послание ученикам, призывающее встраиваться в современность, ушедшую вперед от деревенской неграмотности.

«Русская грамота для школы и семьи. Букварь для обучения письму и чтению, составленный по новейшему методу и по новой орфографии, с указанием особенностей старой орфографии» составлен Сергеем Константиновичем Павловичем (1875–1940) и дважды издан в Вильно (в 1936 и 1938 гг.)³⁰. Выходец с белорусско-литовских территорий России (с 1921 по 1939 г. они уже находились в составе Польши), выпускник Киевской духовной академии, как преподаватель Закона Божия он работал в Виленской белорусской гимназии. Павлович отстаивал интересы белорусского образования в Польше как образования автономного меньшинства. Он не был сторонником БССР³¹. Если З.Н. Дормидонтова идентифицируется с русским меньшинством в Эстонии, то Павлович – с белорусским меньшинством в Польше, находившимся между поляками как большинством и русскими как имевшими в Польше статус ниже белорусов. Он был автором ряда белорусских учебников для начального обучения грамоте и по Священной истории. Возможность составить учебник для русского населения была воспринята Павловичем в контексте борьбы за сохранение в школе кириллического шрифта³².

Визуальный ряд его пособия (иллюстрации Вячеслава Богдановича 1878 – ок. 1941 г., и Власа (?) Отрищенко) состоит из образов, в большинстве своем построенных на основе деревенского быта дореволюционной России. Эти иллюстрации скопированы или созданы на основе применявшихся в учебниках предыдущей эпохи. Мы видим русскую избу изнутри и снаружи, знакомимся с обитающими в ней персонажами – детьми и взрослыми, нянчащими, пашущими и пасущими скот, читающими, стирающими, играющими, дразнящимися, косящими и убирающими сено, пилящими дерево, кормящими кур, доящими корову, прядущими нить за традиционной прялкой, едущими на санях, устраивающими пасеку, наблюдающими у амбара за перелетными птицами и птицами,

³⁰ Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи... Вильно, 1936; *Он же*. Русская грамота для школы и семьи... 2-е изд. Вильно, 1938.

³¹ *Маракоў Л.У.* Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991. Т. 2; *Он же*. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнны і царкоўнаслужыцелі Беларусі, 1917–1967. Т. 2; Сяргей Канстанцінавіч Паўловіч – беларускі багаслоў, педагог, перакладчык [Электронный ресурс]. Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY, 17 февр. 2003, URL: https://library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1045495554&archive=refhis1126089824&start_from=&ucat=& (дата обращения 12.05.2019).

³² Благодарим Ю.Э. Шустову за любезную консультацию по биографии С.К. Павловича.

поедающими рассыпавшееся зерно... Апофеозом русскости выступает картина «Грачи прилетели»³³. Однако временами среди таких картин читателя встречают и другие образы: мальчика и девочки, убирающихся в помещении явно не избы (хотя рядом на других картинах изображена именно она), одетых совсем не по-крестьянски³⁴, марширующих иноземным строем³⁵. Взрослые мужчины, сажающие дерево, убирающие капусту, идущие по улице, одеты в европейские головные уборы³⁶. «По-западному» выглядит рынок³⁷. Автобус на той же странице, поезд на другой³⁸ и аэроплан на третьей³⁹ связывают деревенский поселок, где встречаются и украинские хаты⁴⁰, с городским пространством. Оно принадлежит Варшаве и в то же время особое, свое⁴¹. Изображенный на нескольких фото город Вильно по имени не назван. По идее, он может находиться как в нынешней Польше, так и в добольшеви́стской России. В иерархии пространства между селом и городом находится мельница, куда подведено электричество и которая устроена совсем не так, как в России⁴².

Текстуальный канон учебника также двойственен и даже тройственен, так как отражает реалии дореволюционные, советские и польские. К дореволюционной школьной атмосфере можно отнести, например, такой текст: «Все идут в зал. Будет молитва. Сразу шум затих. В углу зала образ. Зажжена лампада»⁴³. Рядом с ним – совсем иное описание, пришедшее, как мы полагаем, из советского учебника 1920-х гг. с его «нашизмом» в педагогическом дискурсе [29]: «Наш класс. Наш класс хорош. Потолок высок. Полы выкрашены. Окна широки. Посреди класса парты, стол и стул. На стенах картинки, наши рисунки, плакаты. На окнах наши вазоны»⁴⁴. Вместе с лисой, таскающей рыбу у мужика, детьми, играющими «в ката и мышку», мы встречаем сцену со школьным доктором, читаем о мощеном «в местечке» рынке и «доме хорошего хозяина Зайко», крытом железом, об

³³ Павлович С.К. Русская грамота для школы и семьи... С. 79.

³⁴ Там же. С. 2, 9 и сл.

³⁵ Там же. С. 16.

³⁶ Там же. С. 18, 23, 37.

³⁷ Там же. С. 51.

³⁸ Там же. С. 61.

³⁹ Там же. С. 92.

⁴⁰ Там же. С. 58.

⁴¹ Там же. С. 93, 95.

⁴² Там же. С. 63.

⁴³ Там же. С. 28.

⁴⁴ Там же.

аптеке, почте, православной церкви и католическом костеле⁴⁵. Как само собой разумеется, обсуждается работа в чужом огороде на хозяйина-татарина, у которого и у самого вся семья работает, выращенная овощи на продажу в городе⁴⁶. Учителя русские – Иван Николаевич и Елена Павловна. Школа изображена находящейся в родном Павловиче селе Ольховка Кобринского повета. В ней учатся (в последовательности появления в учебнике) Жаровы, Скворцовы, Железновы, Чижовы, Кузьмины, Зуйченко, Пашуки, Щукины, Щербаковы, Ежовы, Силичи, Грачевы. Помимо всего остального они изучают герб и гимн Польши, портрет президента и покойного маршала Ю. Пилсудского (1867–1935). Ученики младшей и старшей групп начальной школы ездят на экскурсию в близлежащий город на поезде. Город не назван по имени (по визуальному ряду это Вильно), но там помимо всего другого они смотрят кино о Варшаве как столице⁴⁷, после чего возвращаются в родную Ольховку.

Блок рассказов для чтения поделен на тексты, набранные в новой орфографии (они доминируют), тексты в старой орфографии и церковнославянские тексты. Последним в основном блоке дано стихотворение И.А. Белоусова (1863–1930) 1904 г., атрибутированное И.А. Бунину:

В родных полях иду я по меже широкой
Вдали от города, от сутолки людской;
Высока надо мною в синеве глубокой
Плывут и тают облачка волнистою грядой.

Чуть-чуть лишь ветерок по ниве пробегает, –
И рожь высокая волнуется, шумит;
Головкой синее мне василек кивает,
А кашка белая из зелени глядит.

Жужжит, кружась, пчела, собирая мед душистый
Гудит тяжелый шмель, садясь на цветок;
О, как родных полей мне сладок воздух чистый
И кажется весь мир свободен и широк!..⁴⁸

⁴⁵ Там же. С. 54.

⁴⁶ Там же. С. 44.

⁴⁷ Там же. С. 99.

⁴⁸ Весенние гости: Стихотворения И.А. Белоусова. С рисунками. М.: Изд. редакции журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок»; Тип. К.Л. Меньшова, 1905. 52 с. (Библиотека для семьи и школы)

О причине атрибуции стихотворения Бунину можно только гадать. Белоусов как автор и как переводчик с белорусского и украинского был Павловичу хорошо известен. Вероятно, составителю хотелось поднять статус данного стихотворения и заодно по-особому отметить качество текстов поэта, почившего за пять лет до подготовки Павловичем «Русской грамоты». В стихотворении, звучащем для русскоязычного меньшинства вне России, по-видимому, прочитывался мотив мысленного переноса странника из чужих земель в родные, только и дающие ощущение вселенской свободы и широты. Возможно, этот мотив, характерный для эмигрантской поэзии в целом, напомнил составителю «про давно позабытые светлые дни», и он счел это стихотворение, в принципе совсем не бунинское по стилю, лексику и ритму, настолько «бунинским», что подписал его этим почетным именем. Конечно, мы не исключаем типографской ошибки, но при хорошем знакомстве Павловича с Белоусовым такая ошибка быстро была бы отслежена. Тут скорее ошибка смысловая, полубессознательная.

Учебник Павловича в 1930-х гг. намеренно обостряет существование внутри самого себя и «линии Акинфиевой» на неразрывную связь обучения русскому языку с Россией, и «линии Дормидонтовой» на продвижение в диалоге, которое аналогично дружеской экскурсии в многонациональный город, объединенный жизнью в общем государстве, добрососедским повседневным сосуществованием и в городе, и в местечке. Павлович подходит к вопросу со стороны «общей жизни» и допускает диалог культуры меньшинства с культурой большинства в стране обитания, чего Акинфиева себе и своим ученикам не позволяет, а Кириллов допускает только молча.

*Заключение: одна идентичность – возврат,
две – продвижение*

В отборе текстов Акинфиевой, Кирилловым, Павловичем, Дормидонтовой в визуальном ряду рассмотренных учебников можно услышать и разглядеть важные послания и о российской эмиграции первой волны, и о сегодняшнем дне любой эмиграции. Составители и художники выстраивали себя и свои послания русскоязычным ученикам, адресуя их ребенку и тем взрослым, которые будут вместе с ним осмысливать детство в новой стране рассеяния: опираясь на память и/или на диалог. Четыре проанализированных нами примера демонстрируют разные варианты отношения к прошлому и настоящему, отчужденности от прошлой и нынешней

ней культур. Они направлены либо на возвращение в единство из рассеяния, на дефрагментацию языка и культуры, либо на обоснование, нахождение себя и продвижение в новом мире. Репрезентированы парадигмы монолога, полумонолога, полудиалога, диалога.

В одном из вариантов школьный учебник представляет собой «литературу возврата». Будучи нацелен на максимальное сохранение и передачу культурного наследия утраченной страны через грамотность на родном языке, он создает модель острова-ковчега, предохраняя от контакта с враждебной и опасной средой стран рассеяния [7,6]. В почти чистом виде такой вариант мы увидели в букваре Акинфиевой. Гирлянда кириллических букв на обложке, «подключающая» детей к утраченной родине с ее полями, озерами и лесами, замыкает их на вечный возврат к ее источникам и родникам. На повестке дня не связь с окружающим миром, а сохранение этнической культуры. Название «Хочу читать!» означает «хочу читать только на русском и только ради связи с потерянной страной и родиной».

В другом случае школьный учебник становится «литературой невозврата и диалога с окружением», как у Дормидонтовой. В нем показано, что залог успеха в контакте с соседями. В третьей и четвертой версиях мы встречаем «литературу возвращения с помощью изоморфности» изучаемого канона (учебник Кириллова) и «литературу невозврата на основе включения своей культуры в общую жизнь» другой страны (учебник Павловича). Учебники Павловича и Дормидонтовой допускали не одну и не обязательно стабильную культурную идентичность в своих учениках (в неравных или равных долях). Учебники Кириллова и Акинфиевой допускали только одну идентичность, наследственную и стабильную, учитывающую или не учитывающую другие.

У каждого из авторов был свой взгляд на целостность личности эмигранта [30]. Не только художественная литература русского зарубежья, но и учебная вносили свой особый вклад в осмысление отделенности и в поиске стратегий совладания с ней. Одни издания чаяли возврата и потому шли путем воспитания исключительности. Другие допускали включение в мультикультурный контекст при сохранении на новом месте собственной самости. Невозможно доказать, но, по-видимому, выбор первого учебника становился подчас выбором своей судьбы, принадлежавшей или не принадлежавшей блистательно эссенциализированному прошлому⁴⁹.

⁴⁹ Термин «эссенциализированное прошлое» мы заимствуем у С. Холла, применяя его в сходном, но не идентичном значении [1 с. 225].

Благодарности

Работа над статьей поддержана грантами РФФИ 17-06-00071а/ОГН и 17-06-00288а/ОГН.

Acknowledgements

Work on the article was supported by grants of the Russian Foundation for Basic Research 17-06-00071a/OGN and 17-06-00288a/OGN

Литература

1. *Hall S.* Cultural Identity and Diaspora // Williams P. & L. Chrisman, eds. Colonial discourse and post-colonial theory. N. Y.; L.: Columbia University Press, 1994. P. 222–237.
2. *Mateja Ribarič, Barbara Iršič, Marinka Krenker, et al.* Begunsko šolstvo v 20. stoletju – naše in pri nas. Print book. Slovenian. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002. 162 lb.
3. *Бабкина Е.С.* Русскоязычный иллюстрированный журнал для детей младшего возраста «Ласточка» (Харбин, 1926–1945 гг.) // Детские чтения. 2015. № 1 (007). С. 145–167.
4. *Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г.* Практика учебного книгоиздания в русском зарубежье: берлинский вариант // Историко-педагогический журнал. 2017. № 2. С. 159–180.
5. *Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г.* «Кто сохраняет словом образ дорогой»: учебники начальной грамоты в педагогике эмиграции 1920–1930-х годов // Вестник ПСТГУ. Серия IV: педагогика, психология. 2017. № 4 (46). С. 48–66.
6. *Безрогов В.Г.* Буквари Русского Зарубежья 1920–1940-х годов // Дорогой друг: Социальные модели и нормы в учебной литературе 1900–2000 годов / Под ред. В.Г. Безрогова, Т.С. Маркаровой, А.М. Цапенко. М.: Памятники исторической мысли, 2016. С. 146–174.
7. *Козлова М.А.* Межпоколенная трансмиссия паттернов группового сплочения в разных социокультурных контекстах: на примере букварей для детей русской эмиграции и Советской России // Мир России. 2019. Т. 28. № 1. С. 124–139.
8. *Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г.* Включение в исключение: добровольная самоэксклюзия в учебниках российских эмигрантов 1920-х годов // Детство: полнота бытия в обществе риска: Сборник научных трудов. СПб.: Астерион, 2018. С. 285–292.
9. *Козлова М.А.* Школьная книга как инструмент адаптации и интеграции меньшинств: стратегии межпоколенной культурной трансмиссии в букварях русской эмиграции 1920–1930-х гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2018. Т. IV. № 49. С. 88–103.
10. *Димьяненко А.А.* Особенности издания детской книги русского зарубежья в 1920–1940-е гг. // Детские чтения. 2015. № 2 (008). С. 95–104.

11. Издательское дело российского зарубежья (XIX–XX вв.) / Отв. ред. П.А. Трибунский. М.: ДРЗ им. А.И. Солженицына, 2017. 594 с.
12. *Kratz G. Russische Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg // Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg / Eds. T. Beyer, G. Kratz, X. Werner. Berlin: Arno Spitz, 1987. S. 39–141.*
13. *Магидова М. Под знаком каталогов и материалов к... В.Н. Тукалевский и русская книга за рубежом: 1918–1936 гг. СПб.: Симпозиум, 2016. 800 с.*
14. *Динерштейн Е.А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М.: НЛЮ, 2014. 448 с.*
15. *Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940. М.: Русский путь, 2005. 488 с.*
16. Педагогическая библиография российского зарубежья (20–50-е годы XX века) / Под ред. и со вст. ст. Е.Г. Осовского. Саранск: МордГПИ, 1999. 56 с.
17. «Русская школа за рубежом» (Прага, 1923–1931, № 1–34): указатель содержания / Сост. Е.В. Короткова. СПб.: Сударыня, 2009. 130 с.
18. *Preindl N. Russische Kinderliteratur im europäischen Exil der Zwischenkriegszeit. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2016. 278 S.*
19. Русская печать в азиатско-тихоокеанском регионе: В 4 ч. / Сост. П. Полански. М.: Пашков дом. Ч. 1. 2015. 213 с. Ч. 2. 2015. 156 с. Ч. 3. 2016. 144 с. Ч. 4. 2016. 360 с.
20. *Седова Е.Е. Детская литература в русском зарубежье «межвоенного» периода как средство национального самосохранения // Материалы Международной научной конференции «Чтение на просторах детства: опыт России и мира». Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО. Вып. 8 / Сост. Ю.П. Мелентьева. М.: Канон+, 2013. С. 146–163.*
21. *Basler F. Die deutsch-russische Schule in Berlin: Geschichte und Auftrag; Beiträge zur Geschichte der Russischunterrichts. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983. 98 S.*
22. *Полчанинов Р.В. Мы, сараевские скауты-разведчики. Югославия, 1921–1941. М.: Посев, 2015. 288 с.*
23. *Безрогов В.Г. Презентация реальности в букварях русской эмиграции первой волны // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. № 4 (53). Т. 2. С. 159–170.*
24. *Безрогов В.Г. Первые фразы натруженных строк: двойная реальность в букварях русской эмиграции начала 1920-х годов // Историко-педагогический журнал. 2018. № 3. С. 110–134.*
25. *Милотина Т.П. Люди моей жизни / Предисл. С.Г. Исакова. Тарту: Крипта, 1997. 415 с.*
26. *Микуленок А.А. Российская эмиграция в Польше: социально-экономическая, общественно-политическая и культурная деятельность (1917–1939). СПб.: Алетей, 2018. 210 с.*
27. *Безрогов В.Г., Келли К. Пословица в учебнике советской начальной школы // Учебный текст в советской школе: Сб. ст. / Сост. С.Г. Леонтьева, К.Г. Маслинский. СПб.; М.: Ин-т логики, когнитологии и развития личности, 2008. С. 386–417.*
28. *Безрогов В.Г. Мини-тексты в учебнике по чтению для начальной школы XX – начала XXI века // Ценности и смыслы. 5 (27). 2013. С. 72–82.*
29. *Баранникова Н.Б., Безрогов В.Г. «Все разделилось вокруг на чужое и наше»: К вопросу о локальном/глобальном в учебнике начальной школы 1900-х –*

- 2000-х гг. // Конструируя детское: филология, история, антропология / Под ред. М.Р. Балиной и др. М.: СПб.: Азимут; Нестор-История, 2011. С. 150–167.
30. Менг К., Протасова Е.Ю. Елена Кхуэн-Белаз: «Русский язык мне ближе к сердцу» // Языковые и культурные контакты: Сб. научных трудов. Вып. 4. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2010. С. 23–28.

References

- Hall S. Cultural Identity and Diaspora. Williams P. & L.Chrisman, eds. Colonial discourse and post-colonial theory. New York-London: Columbia University Press, 1994. p. 222-237.
- Ribarič M.; B. Iršič; M. Krenker; et al. *Begunsko šolstvo v 20. stoletju – naše in pri nas*. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002. 162 lb.
- Babkina E.S. “Swallow”: Russian illustrated magazine for young children (Harbin, 1926–1945 gg.). V: *Children literature miscellany* Publ.; 2015. № 1 (007). p. 145-67. [in Russ.]
- Barannikova N.B., Bezrogov V.G. Practice of Russian textbook publishing outside Russia: Berlin case. V: *Istoriko-pedagogičeskij žurnal* [Nizhnij Tagil] Publ.; 2017. № 2. p. 159-80. [in Russ.]
- Barannikova N.B., Bezrogov V.G. “Who keeps the darling image in the word”: elementary textbooks in the pedagogy of Russian emigration, 1920s–1930s. V: *Vestnik Pravoslavnogo Svjato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta*. Seriya 4: Pedagogika. Psihologiya. Publ.; 2017. № 4 (46). p. 48-66. [in Russ.]
- Bezrogov V.G. ABC books of The Russian Abroad of 1920–1940s. V: *Dear friend: Social models and norms in educational literature of 1900–2000*. Pod red. V.G. Bezrogova, T.S. Markarovoj, A.M. Capenko. Moskva: Pamjatniki istoričeskoj mysli, Publ.; 2016. p. 146-74. [in Russ.]
- Kozlova M.A. The Intergenerational Transmission of Patterns of Group Cohesion in Different Socio-cultural Contexts: the Case of ABC Books for the Children of Russian Emigrants and Soviet Russia. V: *Mir Rossii Russia*. Publ.; 2019. T. 28. № 1. p. 124–39. [in Russ.]
- Barannikova N.B., Bezrogov V.G. Inclusion in exclusion: voluntary self-exclusion in textbooks of Russian emigrants of the 1920s. V: *Childhood: completeness of being in a society of risk*. Ed. by K. Sultanov. Sankt-Peterburg: Asterion Publ.; 2018. p. 285-92. [in Russ.]
- Kozlova M.A. The schoolbook as a tool for adaptation and integration of minorities: strategies of intergenerational cultural transmission in the primaries of Russian emigration of the 1920s–1930s. V: *Vestnik Pravoslavnogo Svjato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta*. Seriya 4: Pedagogika. Psihologiya. Publ.; 2018. T. IV. № 49. p. 88-103. [in Russ.]
- Dimjanenko A.A. Main features of the publications of Russian children’s books abroad in the 1920s–1940s. V: *Children literature miscellany* Publ.; 2015. № 2 (008). p. 95-104. [in Russ.]
- Publishing business of the Russian abroad in the 19th and the 20th centuries. Otv. red. P.A. Tribunskij. Moskva: DRZ im. A.I. Solzhenicyna Publ.; 2017. 594 p. [in Russ.]

12. Kratz G. Russische Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. V: *Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg*. Eds. T. Beyer, G. Kratz, X. Werner. Berlin: Arno Spitz, 1987. S. 39-141.
13. Magidova M. Under the sign of catalogs and materials to... Tukalevsky and the Russian book abroad, 1918–1936. Sankt-Peterburg: Simpozium Publ.; 2016. 800 p. [in Russ.]
14. Dinershtejn E.A. Blue bird of Zinovy Grzhebin. Moskva: NLO Publ.; 2014. 448 p. [in Russ.]
15. Jovanovich M. Russian emigration to Balkans: 1920–1940. Moskva: Russkij put' Publ.; 2005. 488 p. [in Russ.]
16. Pedagogical bibliography of the Russian abroad since the 1920s till the 1950s. Pod red.i so vst.st. E.G. Osovskogo. Saransk: MordGPI Publ.; 1999. 56 p. [in Russ.]
17. "Russian schools abroad" (Praga, 1923–1931, № 1–34): index. Sost. E.V. Korotkova. Sankt-Peterburg: Sudarynja Publ.; 2009. 130 p. [in Russ.]
18. Preindl N. Russische Kinderliteratur im europäischen Exil der Zwischenkriegszeit. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2016. 278S.
19. Russian editions in Asia and Pacific region in 4 parts. Sost. P. Polanski. Moskva: Pashkov dom Publ.; Ch. 1. 2015. 213 p. Ch. 2. 2015. 156 p. Ch. 3. 2016. 144 p. Ch. 4. 2016. 360 p. [in Russ.]
20. Sedova E.E. Children's literature in the Russian abroad of the "interwar" period as a means of national self-preservation. V: *Proceedings of the International scientific conference "Reading in the vastness of childhood: the experience of Russia and the world"*. Reports of the Scientific Council on reading RAO. Vyp. 8. Sost. Ju.P. Melent'eva. Moskva: Kanon+ Publ.; 2013. p. 146-163. [in Russ.]
21. Basler F. Die deutsch-russische Schule in Berlin: Geschichte und Auftrag; Beiträge zur Geschichte der Russischunterrichts. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983. 98 S.
22. Polchaninov R.V. We, the Sarajevo scouts. Jugoslavija, 1921–1941. Moskva: Posev Publ.; 2015. 288 p. [in Russ.]
23. Bezrogov V.G. Presentation of Reality in the Primaries of Russian Emigration of the First Wave.V: *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika* Publ.; 2018. № 4 (53). Tom 2. p. 159-70. [in Russ.]
24. Bezrogov VG. Pervye frazy natruzhennyh strok: dvojnaja real'nost' v bukvarjah russkoj jemigracii nachala 1920-h godov. V: *Istoriko-pedagogicheskij zhurnal*. Publ.; 2018. № 3. S. 110-134. [in Russ.]
25. Miljutina T.P. Peoples in my life. Predisl. S.G. Isakova. Tartu: Kripta Publ.; 1997. 415 p. [in Russ.]
26. Mikulenok A.A. Russian emigration to Poland: socio-economic, socio-political and cultural activities (1917–1939). Sankt-Peterburg: Aletejja Publ.; 2018. 210 p. [in Russ.]
27. Bezrogov V.G., Kelli K. Proverb in the textbook of the Soviet primary school. V: *Educational text in the Soviet school Poslovica v uchebnike sovetskoj nachal'noj shkoly*. Sost. S.G. Leont'eva, K.G. Maslinskij. Sankt-Peterburg-Moskva: In-t logiki, kognitologii i razvitija lichnosti Publ.; 2008. p. 386-417. [in Russ.]
28. Bezrogov V.G. Mini-texts in the textbook on reading for primary school of the XX-beginning of the XXI century. V: *Values and meanings*, 5(27), 2013. p. 72-82. [in Russ.]

29. Barannikova N.B., Bezrogov V.G. "Everything is divided around into someone else's and ours." On the issue of local / global in the primary school textbook of the 1900s-2000s. V: *Constructing children: Philology, history, anthropology*. Pod red. M.R. Balinoj i dr. Moskva-Sankt-Peterburg: Azimut; Nestor-Istorija Publ.; 2011. p. 150-167 [in Russ.].
30. Meng K., Protasova E.Ju. Elena Khujen-Belazi: "Russian language is closer to my heart". V: *Language and cultural contacts. Collection of proceedings*. Vypusk 4. Saratov: Izdatel'stvo Saratovskogo universiteta Publ.; 2010. p. 23-28 [in Russ.].

Информация об авторах

Наталья Б. Баранникова, кандидат педагогических наук, доцент, Академия социального управления, Москва, Россия; 129344, Россия, Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3; barannikova@mail.ru

Виталий Г. Безрогов, доктор исторических наук, Институт стратегии развития образования Российской академии наук, Москва, Россия; 105062, Россия, Москва, ул. Макаренко, д. 5/16; bezrogov@mail.ru

Information about the authors

Natalya B. Barannikova, Cand. of Sci. (Pedagogy), associate professor, Academy of Social Management, Moscow, Russia; bldg. 3, bld. 3, Yeniseyskaya St., Moscow, 129344, Russia; barannikova@mail.ru

Vitaly G. Bezrogov, Dr. of Sci. (History), Institute for Educational Development Strategy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; bld. 5/16, Makarenko St., Moscow, 105062, Russia; bezrogov@mail.ru

«Человек телесный»
в социокультурном контексте раннесоветской эпохи:
аксиология и социальные практики

Ирина М. Быховская

*Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия, bykirina@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается телесная (физическая) культура человека как феномен, производный от социального и культурного контекста бытия «человека телесного». Эта общая методологическая позиция раскрывается на материале конкретной эпохи – периоде становления советского общества. Проведенный анализ опирается на публикации 1920–1930-х гг., связанные с вопросами развития телесной (физической) культуры человека, на художественное творчество того времени, в котором запечатлен идеал «нового человека» – крепкого, здорового, жизнерадостного. Концептуально-идеологическое обоснование аксиологии человеческого тела, характерное для рассматриваемого времени, подкрепляется научно-методическими работами для соответствующих телесных практик – образовательной, воспитательной, для развития досугового массового спорта. Ключевыми идеями, определившими достаточно высокую заинтересованность молодой советской власти в развитии телесной культуры, были укрепление инструментальных возможностей тела (для повышения производительности труда, боеспособности армии); использование ее потенциала для борьбы с вредными привычками (массовый спорт как вид здорового досуга), для включения женщины в активную жизнь, для интеграции людей в поликультурном пространстве. Развитие телесной культуры представлялось одной из форм вхождения человека в пространство культуры вообще (развитие «правильных» нравственных и эстетических качеств); утверждение массового, народного спорта рассматривалось как один из маркеров противоположения нового мира «старому» с его буржуазным спортом – ярким порождением капитализма. Исследование является еще одним шагом в развитии сравнительно-культурного анализа многообразия моделей телесной (физической) культуры как важной составной части культурно-антропологического, историко-культурного, собственно культурологического сегментов современной науки.

Ключевые слова: тело, телесная культура, физическая культура, советский спорт, телесные практики

Для цитирования: Быховская И.М. «Человек телесный» в социокультурном контексте раннесоветской эпохи: аксиология и социальные практики // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 65–82. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-65-82

“Homo Corporis”
in the socio-cultural context of early Soviet era:
axiology and social practices

Irina M. Bykhovskaya

Moscow City University, Moscow, Russia, bykirina@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the analysis of human body culture (physical culture) as a phenomenon strongly influenced by the social and cultural context of “Homo Corporis” being. This general methodological position is revealed on the material of a concrete epoch – the period of the formation of Soviet society, characterized by its axiology of the human body and some relevant practices based on it. The analysis is based on the publications of the 1920s – 1930s, related to the development of the body (physical) culture, on the art items, art production of that time, which captures the ideal of the “new man” – strong, healthy, cheerful. The axiology of the human body in early Soviet time was based on relevant conceptual and ideological substantiation, scientific and methodological investigations which were the regulators for body practices in the fields of education, socialization, leisure mass sports, etc. The key ideas that determined notably big interest of the Soviet authorities in the development of body culture were such as the strengthening of the instrumental capabilities of the body (to increase the productivity of labor, the army’s combat capability); using its potential to struggle with bad habits (mass sports as a kind of healthy leisure), to include passive women in active life, to organize new integrative multicultural space. The body culture practices were estimated as one of the accessible, “light” form for the person entering into the space of culture per se (through “correct” moral and aesthetic qualities arising). The representation of mass, people sport was considered as one of the markers to clarify the opposition to the “old” society with its bourgeois sport, the product of inhumane capitalism. This investigation is a next small step for the development of a comparative-cultural analysis of the diversity of models of body (physical) culture as an important part of modern social studies and cultural researches.

Keywords: body, body culture, physical culture, Soviet sport, body practices

For citation: Bykhovskaya IM. “Homo Corporis” in the socio-cultural context of early Soviet era: axiology and social practices. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8:65-82. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-65-82

Введение

«Дано мне тело. Что мне делать с ним...»

О. Мандельштам

«Придать бы плоти немного сути»

Ст. Ежи Лец

«...В царство свободы дорогу грудью
проложим себе»

Л.П. Радин

Вопрос – Ответ – Действие: цитаты, взятые для эпиграфа к статье, отражают три ракурса взгляда на тело, на одну из ипостасей человека, данную ему как значимый и *неотъемлемый* атрибут существования. Сам по себе факт «вотелесненности» личности, банальный и непреложный, в разной мере является предметом рефлексии в различных научно-дисциплинарных традициях. Степень и характер реализации идеи «придать бы плоти немного сути» определяется множеством факторов – от социально-культурного контекста конкретной исторической эпохи, ее мировоззренческих, аксиологических доминант до содержания индивидуального процесса инкультурации, обеспечиваемого конкретными агентами этого процесса, – семьей, институтами образования и т. д. Добавив сюда еще и воздействия социально-групповые, субкультурные, опосредующие процесс формирования «человека телесного» на разных этапах его становления, констатируем существование внушительной матрицы, структурирующей процесс изучения телесности человека в ее онтологическом, гносеологическом, аксиологическом, праксеологическом измерениях.

Тело человека

как объект социокультурного анализа

Исследования, которые можно отнести к направлению, условно обозначаемому нами как «социокультурная соматология», все более прочно занимают свое место в сегменте социальных и гуманитарных наук. Конечно, к решению классического философско-мировоззренческого вопроса о соотношении / взаимодействии души и тела этот тезис отношения не имеет – непреходящий его характер очевиден. В данном случае имеется в виду тот вектор все более

активно развивающихся исследований как за рубежом (М. Фуко, М. Фитерстоун, З. Кравчик, К. Шиллинг, П. Бурдые и др.), так и в России (В.И. Жаров, Н.Н. Визитей, В.И. Столяров, М.Н. Эпштейн и др.), которые направлены на изучение характера, механизмов, смыслов, многообразия воздействий на человеческое тело социальных институтов и процессов, культурных норм, ценностей, паттернов поведения, стереотипов мышления, с одной стороны, а также встречных, более широких, чем вопросы тела, социальных и культурных последствий – с другой.

В отечественных научных штудиях социального профиля указанная тематика как особая предметная область отсутствовала в течение многих десятилетий, поскольку тело как объект изучения было отнесено к блоку естественно-научных дисциплин. Вероятно, одной из причин этого было своего рода «научное фарисейство», когда объектами, достойными социального и гуманитарного изучения, могло быть лишь «высокое», «разумное» и т. п., т. е. ровно противоположное «природности», приземленности тела, представляющему материально-низменное в человеке. В контексте развития социальных наук западных стран, где такого рода идеологические рамки были менее жесткими, телесная проблематика представлена более широко, однако и там получение ею позиции, соразмерной со многими другими сегментами социально-культурного изучения человека, выход из зоны относительной маргинальности относят лишь к 80-м гг. XX в., ознаменовавшимся «возвращением к телу» [1].

Катализаторами этого процесса стали как внутренние механизмы развития антропологического знания, стимулирующие углубление и все большую детализацию в изучении объективно значимой телесной компоненты бытия личности, так и серьезные трансформации в контексте существования «человека телесного» – цивилизационно-технологические, социально-коммуникационные, культурно-аксиологические. Своего рода «триггерами» повышения интереса к вопросам, связанным с телом человека, стали принципиальные изменения в образе жизни, сопровождающиеся ростом гиподинамии и иных атрибутов технологического прогресса; рост ценности человеческой индивидуальности и глобальный тренд на визуализацию; интенсификация влияния экологических факторов и тотальная «медикализация» телесной оболочки; масштабы распространения немислимых прежде технологических возможностей для изменения человеческой внешности «под заказ» и т. д. Все эти обстоятельства не могли не стимулировать рост исследовательского интереса к выявлению многочисленных точек пересечения тела человека с социальными процессами и культур-

ными контекстами, анализа характера сопряженности, возникающего в них. Активизация такого рода исследований обнаружила себя как применительно к феноменам и процессам, связанным с телесным бытием человека в актуальном, сегодняшнем социокультурном пространстве, так и в существенном расширении интереса к предмету под названием «история тела» в его социокультурной интерпретации.

Анализ особенностей бытия «человека телесного» в конкретном социокультурном контексте – ретроспективном или остро современном – позволяет, с одной стороны, пополнять активы социокультурной соматологии, все еще имеющие множество лагун, а с другой – вносить новые оттенки и профили в картину той эпохи, культуры, сообщества, в контексте которых этот анализ проводился. Стремление к такому двустороннему исследовательскому движению определяет и логику построения данной статьи, поскольку в качестве конкретного поля анализа выбран период, в рамках которого, с одной стороны, достаточно ярко проявила себя сопряженность аксиологии тела (и соответствующих телесных практик) с особенностями социокультурного пространства, а с другой – само это пространство обретает дополнительные краски, не всегда акцентированные исследователями.

Столь привлекательным, в указанном смысле, социальным материалом является период становления советского общества, который может рассматриваться как «естественная» лаборатория для обнаружения социокультурных влияний на «телесное сознание» и телесные практики эпохи; как своего рода матрица для case-study в интересующей нас области. Социальная и культурная обусловленность того, что связано с телом человека, носит здесь характер эксплицитной выраженности, артикулированности и даже, в определенной мере, эстетической окрашенности. Проявления этого нашли выражение в значимости, придаваемой вопросам телесной, физической культуры человека в общесоциальном и культурном пространствах, в характере концептуально-мировоззренческого обоснования социально одобряемых практик «работы с телом» и в нормативно-аксиологических регуляторах процесса становления «культурной личности». Рамки статьи позволяют обратиться лишь к некоторым из областей, релевантных для рассмотрения обозначенных векторов сопряжения, а именно к тем, что представляются наиболее яркими в интересующем нас ракурсе, – к сфере социализации и воспитания личности, а также к области спорта и физической культуры.

*Новый человек – человек,
совершенный во всех ипостасях*

Формирование человека, принципиально отличающегося, а точнее превосходящего человека старого, буржуазного мира, было изначально провозглашено молодой советской властью одной из стратегических задач, решение которой определяло магистральные линии практических действий в самых разных областях жизни. Именно он, новый человек, должен был стать презентационной моделью создания общества мечты; именно он, наряду с пейзажем строек и иных атрибутов перестраиваемого пространства, должен был *воплотить* в себе успешность радикальных перемен, *явить* всему «старому миру» достоинства мира нового. Нет ничего удивительного в том, что здоровое, красивое тело человека как носитель такого рода информации (наряду с его пониманием как важного естественного «инструмента», необходимого для достижения провозглашенных целей) с самого начала стало предметом заинтересованного отношения государства.

Декларации, предписания, инструкции, методические рекомендации и т. п., отражающие эту позицию, разрабатывались и распространялись как регуляторы практик в образовательной, воспитательной, оздоровительной, досуговой сферах (о богатой коллекции таких документов см. [2]). Наряду с этим активно формировался и соответствующий визуальный ряд, позволявший наглядно представить те целевые ориентиры, которые определяли образ «правильного», нового человека. Широкий спектр художественной продукции 1920–1930-х гг. – плакатно-агитационной, живописной, скульптурной и т. п. – нес в массы образцы для подражания в виде крепких, румяных, физически состоятельных людей [3–5]. Англоязычный термин *“fit”* (подходящий, соответствующий), масштабно проросший во всеязычном «фитнесе» в XX в., вполне по сути своей адекватен и для описания *стратегии достижения соответствия* «человека телесного» *запросу* общества той эпохи. Однако применительно к рассматриваемому периоду смысловая нагрузка «соответствия» имела существенное отличие, если сравнивать ее с современным, индивидуализированным, толкованием физической «подходящести»: точкой отсчета было «соответствие» не какому-то индивидуальному, личностному запросу, и даже не некоему социальному, а лишь и только *государственному* – запросу, заказу, предписанию.

Если наглядность такого запроса обеспечивалась уже упомянутой его масштабной художественной визуализацией, то ответы на него действием включили весьма интенсивную работу по не-

скольким направлениям: создание научно-теоретической базы, релевантной поставленной задаче; преобразование практик образования и воспитания как важнейших каналов воздействия на телесную компоненту; развитие массового (досугового) спорта как средства укрепления здоровья и борьбы с вредными привычками, его разрушающими. Все эти векторы движения и должны были практически обеспечить достижение стратегически значимой цели – создания «улучшенного» человека, *соответствующего* высокому статусу гражданина нового мира, т. е. *практически эффективного инструмента* (в ту-то эпоху особенно!) социальных преобразований и запланированных свершений. Не периферийность этого интереса, очевидная поддержка в развитии телесно-ориентированных практик как важной компоненты процесса формирования гармоничной личности, возможно, обуславливались также и пониманием (возможно, просто на уровне интуиции) того, что преобразование внутреннего мира человека, его интеллектуальных достижений и пр. предполагает существенно более долгий и сложный путь, чем работа с внешней атрибутикой, т. е. с телом человека. Однако если это и было фактором, то скорее находящимся где-то в зоне «периферийного политического зрения». В фокусе же, несомненно, наряду с главной ориентацией на «формирование здорового советского тела средствами физической культуры» [6 р. 320] находилась еще и идея (имевшая «сквозное» звучание *во всех* областях жизни) противопоставить сферу создания новой телесности, а именно массовый, народный спорт «старому», буржуазному спорту, одному из порождений капитализма, отвергнутого новым обществом.

Одной из задач, в постановке которой отчетливо читается такого рода ориентация, стала цель построения новой, *не* буржуазной, научной базы для соответствующих практик совершенствования тела, поскольку «без выявления классовых интересов мы не можем проводить физическое воспитание трудящихся» [7 с. 6]. Эта задача была положена в основание деятельности профильных учебно-научных организаций, а распространение получаемых результатов и новых идей было предписано вновь создаваемым профильным периодическим изданиям, в частности журналу «Теория и практика физической культуры», первый выпуск которого увидел свет в 1925 г. Среди важнейших редакционных задач этого издания была указана и такая: «...социалистическое и биологическое обоснование советской системы физкультуры...» [2 с. 454]. Совмещение идеологического («социалистическое») и собственно научного («биологическое») было, как известно, типичным кентавризмом того времени, присутствовавшим на всех

этапах – от постановки целей до подготовки правильных отчетов об их успешной реализации. Обсуждая необходимость подведения серьезной научной базы под практики телесного воспитания (которое в последующем все чаще стало обозначаться как воспитание физическое), А.А. Зикмунд, ректор Центрального института физической культуры, утверждал:

Мы используем западноевропейские ценности, пропуская их через диалектическое сито. Решительно будем отклонять всякую попытку внедрений в наше хозяйство или культуру, в том числе и физкультуру, буржуазных рецептов. Биологию мы ценим, уважаем, но только в социалистическом освещении»¹ [цит. по: 8 с. 18–19]. Специфическое «уважение» биологии должно было привести к тому, чтобы была сформирована «...биосоциальная наука, имеющая целью совершенствование природы человека в смысле повышения его жизнедеятельности в целях увеличения продуктивности труда» (8 с. 18–19).

Научный базис для усовершенствования «человека телесного» в конце 1920 – начале 1930-х гг. включал в течение небольшого отрезка времени и разработку принципов и технологий «социальной евгеники», развитие которой достаточно тесно пересекалось с решением задачи формирования физически совершенного человека средствами массового спорта (более подробно об этом см. [8]). В редакционной статье журнала «Теория и практика физической культуры», посвященной уточнению приоритетных тем издания, читаем:

Ставя своей основной задачей всемерное содействие выполнению Советами физической культуры и органами здравоохранения заданий, возложенных на них постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 апреля 1930 года в области научно-практической работы, редакция журнала «Теория и практика физической культуры» ставит на 1931 год две главных ведущих темы, подлежащих освещению на страницах журнала: 1. Физкультура как фактор повышения производительности труда и борьбы с профвредностями и 2. Физкультура как социально-евгенический фактор... Страницы журнала для материалов по проблеме «физкультура как социально-евгенический фактор... будут предоставляться редакцией в первую очередь...» [2 с. 457].

¹ Цит по: *Карпушко Н.А.* Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре: Учеб. пособие. М.: ГЦОЛИФК, 1992. 65 с.

*«Атлетом можешь ты не быть,
но физкультурником – обязан»*

Эта строчка, взятая с социального плаката, созданного художником А.А. Дейнекой в 1933 г., отражает одну из доминант идеологии совершенствования «человека телесного» – идею тотального, массового призыва в ряды укрепляющих свое здоровье, улучшающих и умножающих свои физические кондиции во имя Родины. Крепкие, здоровые, румяные люди на плакате внушают оптимизм и веру в счастливое будущее страны, обращаясь к согражданам: «Работать, строить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником – обязан».

Вполне понятный акцент на оздоровительную направленность в развитии массового спорта, физической культуры (хотя и далеко не единственный придававшийся ей смысл) организационно-управленчески подкреплялся фактом совмещения проф. Н.А. Семашко двух постов – наркома здравоохранения и председателя Высшего совета физической культуры (ВСФК). А его назначение еще также и ответственным редактором упомянутого выше специализированного издания «Теория и практика физической культуры» определило повышенное внимание к развитию медико-биологических основ спортивно-физкультурной практики, что нашло отражение, в частности, в значительном крене публикационной активности в эту предметную область [2 с. 386]. В то же время, видимо, профессиональная компетентность, диктовала самому Семашко необходимость высказывать некоторую осторожность и репризы, сдерживающие ретивость менее грамотных, но энергичных исполнителей. Даже в своих публицистических статьях, окрашенных призывами и декларациями, он настаивал на осторожном подходе к реализации идеи массового призыва в физкультурники:

С выбором физических упражнений для рабочего надо быть сугубо осторожным. Даже такое физическое упражнение, которое бесспорно полезно вообще для организма, может оказаться вредным для рабочего в том случае, если оно повторяет вредность его профессии. Пример: как ни полезен вообще умеренный бег, но он будет вреден в качестве корригирующего упражнения для тех профессий, которые связаны с постоянным движением (разносчики, грузчики и т. д.). Для профессий, связанных с большой затратой физических и умственных сил, лучшей формой коррекции будет абсолютный покой, т. е. отсутствие физических упражнений. На учете профвредностей должна быть обязательно построена вся система физкультуры для членов профсоюзов [9].

Формирование моделей физического воспитания, адекватных характеристикам целевых групп (используя современную терминологию), уже тогда стало одной из магистральных линий развития этой сферы (более подробно об этом см. [10]). Диверсифицированность проблемно-тематической структуры проводимых исследований и предлагаемых разработок была, с одной стороны, откликом на социально-государственный запрос, отражающий необходимость решения проблем применительно к разным областям социальной жизни. С другой стороны, активность в научной и методической сферах, обеспечивавших продвижение физического воспитания, оздоровительных практик, была в большой мере основана на использовании того потенциала, который сформировался в дореволюционный период. Концептуальные и методические разработки П.Ф. Лесгафта, сохранившие свою безусловную авторитетность и для корпуса новых советских специалистов, внедрялись в практику и продвигались, в том числе, и «живыми» продолжателями традиций Лесгафта, его бывшими соратниками и учениками. Так, один из них, проф. В.В. Гориневский, используя весь научный капитал, накопленный в досоветскую эпоху, стал одним из классиков в новом научно-образовательном пространстве, призывая в то же время опираться в решении вопросов физического воспитания на тот не только научно-теоретический, но и «живой» человеческий капитал, который сохранился, – прежде всего в молодом поколении [11]. То, что немалое число специалистов-«естественников», исследователей и практиков от спорта из дореволюционной России непосредственно «перетекли» в активную профессиональную деятельность в России советской, вероятно, было связано с относительной неидеологизированностью этих областей знания, а это, в свою очередь, обеспечило возможность поддержания необходимого (для своего времени) уровня разработок как в естественно-научном, так и в методико-педагогическом сегменте профильного знания, затрагивающих как общие проблемы физического совершенствования и массового спорта, так и вопросы отдельных форм и видов этих практик. Примером последнего могут служить, например, работы М.Д. Ромма, дореволюционного выпускника Московского университета, двоюродного брата знаменитого кинорежиссера М.И. Ромма [12].

Наряду с проведением исследований и подготовкой методических материалов, ориентированных на получение от физической культуры эффекта экономического, прежде всего через снижение заболеваемости среди бойцов трудовой армии и повышение производительности труда, важным – и вполне естественным – вектором таких разработок было все, что связано с вопросами повышения

боеспособности армии. Л.Д. Троцкий не раз обращался к этому предмету, хотя, как правило, уточнял, что спорт и физическая культура имеют существенно более широкое значение для развития общества, чем просто укрепление армейских рядов:

...Задача физической культуры несравненно шире той специальной задачи, которой посвящено военное ведомство. Армия есть временное учреждение, и мы ликвидируем армию вместе с ликвидацией буржуазного общества, а физическая культура, разумеется, не ликвидируется, она сохранится до тех пор, пока сохранится на земле человек. Можно сказать даже, что настоящая физическая культура начнется именно тогда, когда исчезнет армия, когда исчезнет классовое общество, когда человек организуется в виде социалистического общежития, ибо только тогда человек сделает самого себя предметом своего обследования, наблюдения и сознательного научного воздействия... Когда человек будущего оглянется на прошлое, он с благодарностью вспомнит работу организаций физической культуры, которые подготовили пришествие этого будущего человека. [Но]... на ближайший период, который, вероятно, затянется на очень значительное количество лет, нам необходимо величайшее содружество организаций физкультуры с организацией Рабоче-Крестьянской Красной Армии².

Представленное здесь понимание массового спорта не просто как сиюминутной необходимости, связанной с текущими утилитарными задачами, а как средства подготовки «пришествия будущего человека», отражает тиражируемую в 1920-е гг. позицию, что задача физического воспитания – отнюдь «не только... узко медицинская, узко физкультурная... а основное условие успешности социалистического строительства...» [13], что объясняет весьма высокий статус этой сферы практики в целом.

Через физкультуру – к культуре

Еще одним обстоятельством, поднимающим статус физкультурно-спортивной деятельности в рассматриваемую эпоху, является ее позиционирование в 1920 – начале 1930-х гг. как обладающей серьезным потенциалом для процесса формирования новой, пролетарской культуры в целом. Такая оценка была связана с пониманием массового спорта как одной из наиболее *доступных* и *привле-*

² Троцкий Л.Д. Речь на Первом Всесоюзном совещании советов физической культуры // Известия физической культуры. 1924. № 10. С. 9–11.

кательных форм «окультуривания» человека, прежде лишенного доступа в мир культуры. Начальный этап этого процесса предполагал, естественно, нахождение относительно «облегченных» способов включения «самым быстрым образом» огромных масс в этот сложный мир, когда решалась задача «перепахать трактором культуры» все формируемое социальное пространство³. Конечно, сфера массового спорта лишь в небольшой мере могла способствовать знакомству с мировыми художественными шедеврами, а вот стать важным инструментом для развития качеств подлинно культурного человека она, как тогда казалось, могла. Апеллируя к идеям вождя пролетарской революции, Н.А. Семашко утверждал:

Физическую культуру он [Ленин] понимал в широком смысле слова. Он понимал, что страна наша, которая так отстала в отношении способности трудиться и умения отдыхать, должна иметь физическое воспитание основной задачей культурного строительства. Он понимал, что истинная культура в нашей стране будет проложена через физкультуру (цит. по [2 с. 397]).

«Прокладывать культуру через физкультуру» означало прежде всего формировать благодаря последней такие черты строителя нового общества, как коллективизм, оптимизм, волю, настойчивость и т. п. Так, в «Основных принципах единой трудовой школы» (1918 г.) записано: «Гимнастика и спорт должны развивать не только силу и ловкость, но и способствовать к отчетливым коллективным действиям...»⁴. Выбор адекватных средств для этого уточнялся в инструкциях и методичках: «...понятно, что мы не можем уделять много внимания гимнастическим трюкам. Рефлекс коллективной борьбы развивается массовыми играми, экскурсиями... публично-спортивными праздниками...» [7 с. 10–11]. В них можно было встретить и рекомендации, основанные, говоря современным языком, на принципах «отрицательного отбора» – через обоснование недопустимости продолжения использования тех буржуазных видов спорта, которые культивировали «индивидуализм», – например, бокса и футбола. «Что такое финт в английском футболе?» – задавался вопросом проф. И.П. Кулжинский в статье о футболе как изобретении английской буржуазии. «Финт – это обман. Таким образом, чему мы учим нашу молодежь? – Обманывать друг друга» (цит. по [14 с. 194]).

³ Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988. С. 373.

⁴ Карпушко Н.А. Указ. соч. С. 20.

Лживая сущность буржуазного спорта раскрывалась не только применительно к отдельным его видам, но и, прежде всего, к нему как к социальному явлению в целом, как к порождению мирового капитализма. Хитро подсунув пролетариату такой «манок», культивируя и пропагандируя компенсаторные возможности физической активности, «буржуазия сделала из спорта, путем очень ловкого приема, одно из центральных оправданий существования капитализма, даже как бы материальную опору целого нового миросозерцания»⁵.

Стремление противопоставить новый, пролетарский спорт, объединяющий людей в их стремлении к телесно-духовному совершенствованию, спорту буржуазному было выражено не менее ярко и отчетливо, чем в других областях жизни, где утверждалась, аргументировалась линия демаркации «они» и «мы». И даже весьма просвещенные идеологи той эпохи не избежали искуса поиграть на этом поле – то ли в силу внутренних убеждений, то ли просто следуя заданным обстоятельствам. Весьма ярким примером тому являются «Мысли о спорте» А.В. Луначарского, вышедшие в 1930 г. и построенные в логике сравнительно-культурного анализа феномена спорта: как это есть «на Западе» и как это есть «у нас» (в кавычки взяты названия двух разделов брошюры). Признавая заметное место, которое спорт всегда занимал в разных обществах, автор противопоставляет избыточность, «нездоровый культ спорта, как чисто “телесной” культуры, который мы наблюдаем сейчас на Западе»⁶ здоровой социальной прагматике отношения к телу, отвечающей интересам трудящегося человека в родном Отечестве:

Когда знакомишься с тем, какое огромное место занимает спорт в жизни американского студента, – пишет автор, – то невольно спрашиваешь себя – когда же, собственно, американский студент успева-ет получить нужные ему знания, а тем более общее развитие... [он] ...до крайности равнодушен к окружающей общественной жизни, совершенно пуст в отношении философском, очень часто просто тупо-религиозен... весьма формально выполняет свои академические обязанности и, по-видимому, умеет потом... выполнять свои специальные функции... только потому, что вся американская жизнь построена очень крепко и располагает необъятными материальными ресурсами⁷.

⁵ Луначарский А.В. Мысли о спорте. М.: Акц. издат. о-во «Огонек», 1930. С. 16.

⁶ Там же.

⁷ Там же. С. 6.

Критическое описание заокеанского спорта как проявления избыточности внимания к телесно-физическим характеристикам человека, как зашкаливающего культа тела, вероятно, заставляет автора (для еще более яркого противопоставления) несколько перестроить «регистры» и в оценке отечественного спортивно-физкультурного поля, в частности его роли для развития культуры:

«...мы, материалисты, – люди светлой жизнерадостности,... признаем гигантское значение физкультуры», но все же «сторону культуры, которую мы называем не “духовной”, а “общественной”, – мы должны ставить выше физкультуры...»⁸.

Для рассматриваемой эпохи, как и для любого другого времени, в зависимости от контекста, характерно чередование «выше» – «ниже» на аксиологической шкале позиционирования всего, что связано с телесно-физической природой человека. Однако в целом все же можно с достаточной уверенностью говорить о том, что вопросы, связанные с развитием этой антропологической составляющей, заняли осязаемое место в социально-культурных исследованиях и проектах раннесоветского времени. Телесные практики (спорт, физическое воспитание, гигиена) рассматривались как «каналы» для распространения ценностей культуры, связанных с решением более общих социальных проблем – формирования «народного единства» в условиях полиэтничности, приобщения к искусству, изменения положения женщины в обществе и т. д. Предметом изучения становились принципы организации массовых спортивных зрелищ и методы использования их социально-культурного потенциала [15]; анализ взаимодействия спорта и искусства [16]; характер отношения спорта и религии [17].

Важной линией в формировании культуры (но не культа!) тела советского человека, в утверждении значимости физического воспитания была «гендерная линия»: множество публикаций и устных (вспомним об уровне грамотности!) выступлений были посвящены проблеме «женщина и спорт (физическая культура)». В достижении такой сцепки виделось содействие решению множества социокультурных проблем: сделать более здоровой женщину-работницу; более активной, уверенной в себе и полной «радостного духа» женщину-гражданина и, конечно, дать верный ориентир женщине-матери, женщине-воспитательнице. Одной из ее важнейших задач провозглашалось введение в повседневную

⁸ Луначарский А.В. Указ. соч. С. 39.

практику ребенка занятий физическими упражнениями, чтобы использовать это «надежное оружие... для успешной борьбы с дурной наследственностью, с физическим вырождением, а также с больным духом, с той преждевременной апатией, отсутствием энергии, которые наблюдаются в настоящее время даже у самой юной молодежи. Без здоровья, без ощущения физической свежести и силы не может быть и радости духа»⁹. В первые годы советской власти не только многие отечественные специалисты дореволюционной эпохи увидели здесь благодатную почву для новых форм «работы с телом» человека, но весьма яркие приезжие профессионалы пробовали воплотить здесь свои мечты о внедрении «свободного движения» – где же, как не в новом, свободном мире это могло стать явью? Один из наиболее известных примеров – приезд в молодую страну Айседоры Дункан, которая проповедовала идею гармонизации человека через обучение его свободному, раскованному движению, новой пластике.

Заключение

Проведенный краткий анализ того, как складывался феномен телесной культуры в раннесоветское время, какие целеполагающие основания определяли этот процесс, позволяет утверждать, что бытие “Номо Соргорис”, особенности его развития (с точки зрения и концептуально-теоретического базиса, и структуры и функций поддерживаемых телесных практик) находятся в тесной связи с принципиальными контекстуальными характеристиками социума. В рамках данного конкретного хронотопа бытия «человека телесного» прослеживаются линии сопряжения между базовыми характеристиками социального поля существования личности, его культурного наполнения, мировоззренческих детерминант, с одной стороны, и аксиологией человеческого тела, проецирующейся на релевантные ей практики (воспитательные, образовательные, досуговые, оздоровительные) – с другой. Данное исследование – еще один небольшой шаг в развитии социокультурной соматологии, которая все больше укрепляет свои позиции в современной науке, прорастая (в полной мере или как смежная проблема) в контекстах культурно-антропологического, историко-культурного, социологического, собственно культурологического сегментов знания [18–25].

⁹ Русский спорт. 1919. № 14. С. 3.

Литература

1. *Frank A.* For a Sociology of the Body: an analytical review // *The Body: Social Process & Cultural Theory*. L.: Sage, 1991. P. 14–36.
2. *Суник А.* Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М.: Советский спорт, 2010. 616 с.
3. *О'Махоуни М.* Спорт в СССР: физическая культура – визуальная культура / Пер. с англ. Е. Ляминой, А. Фишман. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 296 с.
4. Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре / Науч. рук. изд. Е. Петрова. СПб.: Palace Editions, 2018. 232 с.
5. *Эдельман Р.* Серьезная забава: История зрелищного спорта в СССР / Пер. с англ. И.С. Давидян. М.: Советский спорт; АИРО-XX1, 2008. 400 с.
6. *Borrero M.* Sport in Russia and Eastern Europe // *Edelman R., Wilson W. (eds.) The Oxford Handbook of Sports History*. N.Y.: Oxford Univ. Press, 2017. P. 319–330.
7. *Зикмунд А.А.* Основы советской системы физкультуры. М.: Новая Москва, 1926. 144 с.
8. *Сидорчук И.В.* Дискуссии о «физическом вырождении пролетариата» и советский евгенический проект 1920-х гг. // *Известия Уральского федерального университета*. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 3 (178). С. 71–84.
9. *Семашко Н.* Великий сдвиг // *Известия физической культуры*. 1925. № 18. С. 1.
10. *Быховская И.М., Мильштейн О.А.* Советская социология спорта: старт и... еще раз старт (субъективные заметки с претензией на объективность) // *Социологическое обозрение*. 2017. Т. 16. № 2. С. 284–319.
11. *Гориневский В.В.* Культура тела: Двигательные средства физической культуры. М.: Наркомздрав РСФСР, 1927. 318 с.
12. *Ромм М.* Ручной мяч и итальянская лапта. М.: Высший военный редакционный совет, 1924. 78 с.
13. *Семашко Н.А.* Пути советской физкультуры. М.: ВСФК, 1926. 89 с.
14. *История физической культуры и спорта / Под ред. В.В. Столбова*. М.: Физкультура и спорт, 2001. 423 с.
15. *Жолдак И.* Мировая спартакиада: Праздник пятилетки. М.: Физкультура и туризм, 1932. 56 с.
16. *Милеев С.* Искусство и физическая культура. М.; Л.: Физкультура и туризм, 1931. 207 с.
17. *Милеев С.* Физкультура и религия. М.; Л.: Московский рабочий, 1932. 71 с.: ил.
18. *Бурдые П.* Программа для социологии спорта // *Бурдые П. Начала / Пер. с фр. Н. Шматко*. М.: Socio-Logos, 1994. С. 257–275.
19. *Krawczyk Z.* Physical Culture from the Perspective of Values – a General and Selective Approach to Physical Culture // *International Review for the Sociology of Sport*. 1988. Vol. 23. No. 2. P. 97–107.
20. *Быховская И.М., Ллоевич И.Ю.* Аксиология телесности и здоровья: вертикали и горизонталы сравнительно-культурного анализа // *Международный журнал исследований культуры*. 2018. № 4. С. 208–223. DOI: 10.24411/2079-1100-2018-00076
21. *История тела: В 3 т. / Ред. А. Корбен, Ж.-Ж. Куртин, Ж. Вигарелло*. М.: НЛО, 2012–2016.

22. *Crossley N.* The social body: habit, identity, and desire. L.: SAGE, 2001. 178 p.
23. *Featherstone M.* Body, image and affect in consumer culture // *Body and Society*. 2010. Vol. 16 (1). P. 193–221.
24. *Roberts D.* Modified people: indicators of a body modification subculture in a post-subculture world // *Sociology*. 2014. Vol. 49 (6). P. 1096–1112.
25. *Shilling K.* The body and social theory. L.: SAGE, 2012. 336 p.

References

1. Frank A. For a sociology of the body: an analytical review. V: *The Body: Social Process & Cultural Theory*. L.: Sage, 1991. P. 14-36.
2. Sunik A. *Essays on the domestic historiography of the history of physical culture and sport*. Moscow: Sovetskii sport Publ.; 2010. 616 p. [In Russ.]
3. O'Mahony M. *Sport in the USSR. Physical Culture – Visual Culture*. Moscow: Novoiye Literaturnoye Obozreniye Publ.; 2010. 296 p. [In Russ.]
4. Petrova E., ed. *Sport in Soviet porcelain, graphics, sculpture*. Sankt-Petersburg: Palace Editions, 2018. 232 p. [In Russ.]
5. Edelman R. *Serious fun. The history of spectator sports in the USSR*. Moscow: Sovetskij sport Publ.; AIRO-XX1 Publ.; 2008. 400 p. [In Russ.]
6. Borrero M. Sport in Russia and Eastern Europe. V: Edelman R., Wilson W., eds. *The Oxford handbook of sports history*. N.Y.: Oxford Univ. Press, 2017. P. 319-30.
7. Zikmund AA. *Fundamentals of the Soviet system of physical education*. Moscow: Novaya Moskva Publ.; 1926. 144 p. [In Russ.]
8. Sidorchuk IV. Discussions on the “Physical degeneration of the proletariat” and the Soviet Eugenics project of the 1920s. *Izvestia. Ural Federal University*. Series 2: Humanities and Arts. 2018;3:71-84. [In Russ.]
9. Semashko NA. The great shift. *Izvestija fizicheskoy kul'tury*. 1925;18:1. [In Russ.]
10. Bykhovskaya I., Milstein O. The Soviet sociology of sport: start and... start once again. *Russian sociological review*. 2017;2:284-319. [In Russ.]
11. Gorinevskii V. *Body culture. Motor means of physical culture*. Moscow: Narkomzdrav RSFSR Publ., 1927. 318 p. [In Russ.]
12. Romm M. *Handball and Italian lapta*. Moscow: Vyschiy voenyi redactzionnyi sovet Publ., 1924. 78 p.
13. Semashko NA. Ways of Soviet physical culture. Moscow: Fizkul'tizdat Publ., 1926. 89 p. [In Russ.]
14. Stolbov VV. (ed.) History of physical culture and sports. Moscow: Fizkul'tura i sport Publ., 2001. 423 p. [In Russ.]
15. Zholdak I. World Spartakiada. Five year plan holiday. Moscow: Fizkultura i tourism Publ, 1932. 56 p. [In Russ.]
16. Mileev S. Art and physical culture. Moscow, Leningrad: Fizkul'tura i turizm Publ., 1931. 207 p. [In Russ.]
17. Mileev S. Physical culture and religion. Moscow: Moskovskii rabochii Publ., 1932. 71 p. [In Russ.]
18. Bourdieu P. Program for sociology of sports V: Bourdieu P. Choses dites. Moscow: Socio-Logos Publ., 1994. P. 257-75. [In Russ.]

19. Krawczyk Z. Physical culture from the perspective of values – a general and selective approach to physical culture. V: *International Review for the Sociology of Sport*. 1988;2:97-107.
20. Bykhovskaya I., Lyulevich I. Axiology of human body and health: verticals and horizontals of cross-cultural analysis. V: *International Journal of Cultural Research*. 2018;4:208-23. [In Russ.]
21. Corbin A., Courtine JJ., Vigarello G. (eds.) *History of Body*. Vol. 1-3. Moscow: Novoe literaturnoye obozrenie Publ.; 2012-2016. [In Russ.]
22. Crossley N. *The social body: habit, identity, and desire*. L.: SAGE, 2001. 178 p.
23. Featherstone M. Body, image and affect in consumer culture. V: *Body and Society*. 2010;1:193-221.
24. Roberts D. Modified people: indicators of a body modification subculture in a post-subculture world. *Sociology*. 2014;6:1096–112.
25. Shilling K. *The body and social theory*. L.: SAGE, 2012. 336 p.

Информация об авторе

Ирина М. Быховская, доктор философских наук, профессор, Московский городской педагогический университет, Москва, Россия; 129226, Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4; bykirina@gmail.com

Information about the author

Irina M. Bykhovskaya, Dr. of Sci. (Philosophy), professor, Moscow City University, Moscow, Russia; bld. 4, Vtoroy Selskohoziaystvenny proezd, Moscow, Russia, 129226; bykirina@gmail.com

Проект выставки
художественной архитектурной керамики
в Москве, 1934–1935 гг.:
по материалам архива А.В. Филиппова

Светлана И. Баранова

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, svetlanbaranova@yandex.ru*

Аннотация. В статье представлены материалы, хранящиеся в архиве известного исследователя, реставратора и организатора керамического производства Алексея Васильевича Филиппова (1882–1957). В них рассказывается о несостоявшейся выставке художественной архитектурной керамики, которую планировали провести в Москве в 1935 г. в Государственном Историческом музее. Документы из архива А.В. Филиппова и Отдела письменных источников ГИМ публикуются впервые. Они позволяют проследить судьбу уникального выставочного проекта и демонстрируют степень изученности архитектурной керамики в России 1930-х гг. Характеризуются подходы к экспонированию и состав коллекций архитектурной керамики крупнейших музеев страны.

Особо выделена роль А.В. Филиппова в создании нового музейного пространства, рассматривающего музей не только как машину для культурной и национальной идентификации, но и как инструмент и часть экспериментального технологического прогресса в керамической отрасли. Филиппов полагал, что экспозиции музеев должны играть в нем важную роль.

Ключевые слова: русское искусство, архитектурная керамика, музей, выставка, музей «производственного типа», экспозиция, технологический подход

Для цитирования: Баранова С.И. Проект выставки художественной архитектурной керамики в Москве, 1934–1935 гг.: по материалам архива А.В. Филиппова // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 83–99. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-83-99

The project
of the exhibition of artistic architectural ceramics
in Moscow, 1934–1935.
According to the materials of A.V. Filippov archive

Svetlana I. Baranova

*Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, svetlanbaranova@yandex.ru*

Abstract. The article presents materials stored in the archive of the famous researcher, restorer and organizer of ceramic production Alexei Vasilyevich Filippov (1882–1957). They talk about the failed exhibition of artistic architectural ceramics, which was planned to be held in Moscow in 1935 at the State Historical Museum. Documents from the archive of A.V. Filippov and the Department of written sources of State Historical Museum are published for the first time. They allow us to trace the fate of a unique exhibition project and demonstrate the degree of knowledge of architectural ceramics in Russia in the 1930s. The approaches to exhibiting and the composition of the collections of architectural ceramics of the country's largest museums are characterized.

The role of A.V. Filippov in creating a new museum space, considering the museum not only as a machine for cultural and national identification, but also as an instrument and part of experimental technological progress in the ceramic industry. Filippov believed that museum expositions should play an important role in it.

Keywords: Russian art, architectural ceramics, a museum, an exhibition, a “production type” museum, an exposition

For citation: Baranova SI. The project of the exhibition of artistic architectural ceramics in Moscow, 1934–1935. According to the materials of A.V. Filippov archive *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series*. 2019;8:83-99. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-83-99

Введение: несостоявшаяся выставка

В недавней книге «Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова» [1] документально прослежены этапы жизни и творчества крупнейшего отечественного специалиста в области керамики, художника и исследователя, технолога, реставратора и историка русского изразца Алексея Васильевича Филиппова. Его биография наполнена множеством замыслов, как успешно воплощенных, так и нереализованных. Все они непосредственно связаны с историей отечественного и мирового искусства и важны для него.

Тема статьи – один из таких нереализованных проектов. Этот сюжет имеет большое значение для характеристики не только личности мастера, но и истории изучения русского изразца в это время, истории музейного дела в России, состава коллекций архитектурной керамики крупнейших музеев страны.

Речь идет о неосуществленном проекте выставки. Сведения о нем были обнаружены в ходе разборки архива в виде рукописи, но их нельзя было сразу включить в книгу – требовались дальнейший специальный анализ и подтверждение независимыми источниками. Публикацию документов пришлось отложить в связи с отсутствием таких материалов. Между тем проект свидетельствует об огромных усилиях А.В. Филиппова, направленных на популяризацию архитектурной керамики, которая была крайне скудно представлена в 1920–1930-х гг. в экспозициях советских музеев.

В те годы по всей стране шло активное музейное строительство. Его стимулировали не только новые задачи, поставленные перед музейщиками, и широкое краеведческое движение, но также массовые конфискации предметов искусства из частных собраний, усадеб и особняков, включая перераспределение коллекций уже существовавших музеев. В этом процессе «музеефикации жизни» Филиппов принял самое активное участие, формируя, а подчас и спасая, коллекции керамики, создавая музейные экспозиции, организуя на музейной базе процесс обучения, ставя всевозможные эксперименты.

Следуя общей мировой тенденции того времени, Филиппов рассматривал музей не только как машину для культурной и национальной идентификации, но и как инструмент или часть процесса развития технологий или (что особенно важно) – экспериментального технологического процесса. Он пытался создать новое музейное пространство и использовать его как техническую площадку для производства керамики и ее, говоря современным языком, маркетинга. При этом он стремился также решать музейные задачи экспонирования.

Музей нового типа: первые попытки

В 1922 г., будучи деканом керамического факультета ВХУТЕМАС, Филиппов сформировал собрание факультетского музея. В ответ на предложение Музейного отдела Главнауки (№ 322 от 16.05.1922 г.) факультет дал «согласие на прием и ведение Музея керамики в качестве показательного собрания Керамического факультета, при условии необходимого его пополнения коллекциями фарфора, вывезенного из б. музея Строгановского училища в Музей фарфо-

ра и в Исторический музей, и древнегреческой керамики, взятой в Музей изящных искусств»¹. Таким образом, Филиппов пытался спасти, «воссоединить» собрание керамики разоренного музея Строгановского училища.

Следующей площадкой для Филиппова стал Музей фарфора, переименованный в 1929 г. в Государственный музей керамики². Долгое время этот музей переезжал с места на место и в итоге обособился в старинной усадьбе Кусково³. Филиппов сыграл значительную роль в его становлении и создании нового направления, обогатившего традиционную музейную деятельность.

28 апреля 1929 г. музей был открыт для посетителей, но проработал лишь год⁴. За этот совсем небольшой срок был представлен музей нового типа, музей-лаборатория, «осуществлявший реальную связь науки, искусства, промышленности и торговли»⁵. Керамическая лаборатория, ставшая, по выражению директора музея С.З. Моргачёва, «нервным центром музея», включилась в общий процесс возрождения кооперации и производственной базы отрасли, наладив сотрудничество с кустарями Гжели и живописцами Палеха. Научно-исследовательская работа музея-лаборатории была ориентирована на насущные задачи керамической промышленности, профтехническое образование и торговлю [2 с. 12–17].

Принципы построения экспозиции и подбора экспонатов, помогающие «уяснить то крупное место, которое занимает керамика и как самостоятельное производство, и как подсобное, среди других отраслей промышленности»⁶ дает «Краткий путеводитель по производственно-показательному отделу музея», написанный Филипповым и изданный в 1930 г. В выставочных помещениях было представлено технологическое многообразие керамических изделий и дана их классификация: «терракота, гончарные, майоликовые, фаянсовые и фарфоровые изделия и изделия из каменной массы»⁷. Здесь же раз-

¹ ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 3. Ед. хр. 213. Л. 23.

² Постановлением СНК РСФСР от 06.07.1929 г. Музей фарфора был переименован в Государственный музей керамики, «в виду организации при нем специальной производственной лаборатории по керамическому производству и расширению его коллекций» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 1. Л. 65–65 об.).

³ Открытый в 1919 г. на основе собраний А.В. Морозова музей первоначально располагался в его особняке (Введенский переулок, 21), а затем в бывшем особняке С.И. Щукина (Большой Знаменский переулок, 8).

⁴ ГАРФ. Ф. 2307А. Оп. 16. Ед. хр. 25. Л. 26.

⁵ Там же. Ф. 406. Оп. 11. Д. 1361. Л. 2.

⁶ *Филиппов А.В.* Краткий путеводитель по производственно-показательному отделу музея. М., 1930. С. 12–17.

⁷ Там же. С. 4.

мещались коллекция разнообразных глин, использовавшихся на территории СССР (кирпичных, черепичных, изразцовых, гончарных, огнеупорных и пр.), и карта действовавших на европейской части страны фарфорово-фаянсовых заводов, а также предприятий, которые проектировались в соответствии с пятилетним планом индустриализации. В другой части экспозиции демонстрировалась технология производства керамики: модели гончарных кругов и обжигательных печей, действующий гончарный станок для точки посуды, различные типы изразцов и плиток – «старинных плиток восточноазиатского типа с красочной обработкой по ангобу и западноевропейских – по белой эмали (Голландия, Дельфт)»⁸.

Особый раздел был посвящен фарфоровому производству: этапы формовки трактирного чайника иллюстрировались гипсовыми рабочими моделями отдельных частей чайника, гипсовыми формами с них и оттисками из фарфоровой массы. Были показаны все стадии изготовления предмета: сырые полуфабрикаты, посуда после первого обжига и поливки глазурью, этапы ее росписи – механической и ручной и т. д.

Для Филиппова музей был не только хранилищем коллекций: сама экспозиция должна была вовлекать посетителя в производственный процесс. Возникал культурный центр, сочетавший в себе музей и мастерскую. Новое искусство требовало новых музейных подходов, ставилась, фактически, задача объяснить, что же такое искусство.

Неудача на поприще создания музея «производственного типа» не охладила желание Филиппова создавать выставки, посвященные керамике. С 1931 по 1934 г. он заведовал отделами стройматериалов и экспозиции Постоянной всесоюзной строительной выставки⁹ и даже получил премию в размере 500 руб. за ударную работу по устройству Октябрьской выставки¹⁰. Видимо, столь успешное участие в этом проекте определило решение художника подготовить такую выставку, которая показала бы все разработанные им подходы к изучению, экспонированию и производству архитектурной керамики.

⁸ Там же. С. 5.

⁹ Архив Филиппова. Трудовой список (Всесоюзная строительная выставка открылась 1 июля 1930 г. в одном из павильонов бывшей Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 г. на Крымском Валу. Первая экспозиция размещалась в трех залах общей площадью 1500 м² и имела следующие разделы: строительные материалы, конструкции, жилищное строительство, санитарная техника, механизация). К сожалению, в настоящее время архив, находящийся в частном собрании Е.А. Бобринской, не имеет шифра.

¹⁰ Там же.

*Архитектурная керамика:
через века и страны*

Вернемся к документу, который стал отправной точкой нашего исследования.

В 1934 г. на имя ректора Всесоюзной академии ЦИК СССР и правления Союза советских архитекторов была направлена докладная записка¹¹:

В настоящее время в архитектурных кругах имеется крупный интерес к применению майолики в архитектуре и как к облицовочному техническому материалу, и как к материалу с богатыми художественными возможностями.

Наше колоссальное строительство бесспорно использует, в силу специфических условий майолики (пластическая гибкость, колоритная полихромия, близость сырья, дешевизна обработки при несложности оборудования и др.), ее и в художественно-технических облицовочных целях; в применении ее в орнаментальной скульптуре и для ряда мелких архитектурных декоративных сооружений.

В целях развития дальнейшего интереса к монументальной майолике и в развитие историко-культурных знаний в среде молодых строителей, предлагаю под научно-исследовательским руководством Всесоюзной Академии Архитектуры ЦИК СССР организовать на широкой общественной почве Союза Архитекторов и Дома Архитектора в Москве выставку «Майолика в архитектуре» в историческом аспекте.

Материалом для означенной выставки могут быть коллекции крупнейших наших научных собраний, как Госуд. Исторический музей, Гос. музей Народов Востока, Гос. музей изящных искусств, Музей Инст. художественной промышленности, музеи Киева, Казани, Самарканда, Ярославля и др.

Выставка должна быть открыта к XVII годовщине Октября и не позднее 1 ноября с.г.

В содержание выставки войдет:

1. Оригиналы майоликовых архитектурных изделий.
2. Разные репродукции майоликовых изделий и сооружений, связанных с майоликой: фото, рисунки, чертежи, карты распространения майолики, реконструкции и т. п.
3. Технические и др. показатели по майолике.

¹¹ Там же. Нам не удалось установить, была ли отправлена эта докладная записка. На ее копии, хранящейся в архиве, есть надпись карандашом: «Получено 31.VIII-34», сделанная рукой Филиппова, и его подпись.

Выставка может охватить историю майолики в архитектуре и древнейших имен по следующей схеме:

I – древние Египет, Вавилон, Ассирия, Индия, Эгенда, Персия (Ахеменидская, Парфянская, Сасанидская).

II – феодальное средневековое общество: мусульманских стран Византии, Древней Руси, Западной Европы (с огромными интересными коллекциями СССР).

III – эпоха разложения феодализма на Западе и в России (особенно Испании, Италии, Голландии, России XVI, XVII и XVIII вв.).

IV – эпоха промышленного капитала на Западе и в России.

V – эпоха капитализма и его стадии империализма на Западе и в России.

VI – перспективы майолики в архитектуре СССР.

Приступить к выставке необходимо для организации плана медленно.

Собирание фактического материала и выполнение работ по иллюстрации – в сентябре месяце.

Монтаж выставки и составление каталога с печатью его – в октябре мес.

Открытие выставки – 1 ноября.

Выставка должна сопровождаться двумя публикациями:

1. Краткий путеводитель с кратким историческим эскизом.

2. Монография с учетом всей научной работы по объединению материалов.

Выставка должна сопровождаться популярными и научно-исследовательскими лекциями и докладами в связи с разработкой проблем как исторической, так и современной архитектуры в технической и художественной практике.

Устроителями выставки являются:

Всесоюзная Академия Архитектуры ЦИК СССР и Союз советских архитекторов в лице Дома архитектора.

Для научно-организационных целей необходимо:

1. Создать узкое научно-организационное совещание для выработки общего плана выставки общих принципиальных установок изысканий средств и др. со стороны ВАА и СА.

2. Избрать исполнительный комитет.

3. Организовать рабочую тройку.

4. Проработать научно-технический план с тем, чтобы с 1 сентября приступить к собиранию экспонатов.

Для наибольшей эффективности работы необходимо попросить у ЦИК СССР утверждение выставки и ряд его распоряжений по наиболее ответственным музейным организациям с тем, чтобы содействие в устройстве выставки было оказано с наибольшим вниманием.

Основные расходы пойдут по следующим линиям:

1. Отбор коллекций в музейных собраниях Москвы, Ленинграда и др. городов с командировкой специалистов.
2. Транспортирование материалов.
3. Работа по классификации и распределению их.
4. Монтаж выставки с приобретением стройматериалов.
5. Фото-иллюстрационно-чертежные работы.
6. Научно-каталогизаторские и технологические разработки.
7. Экспозиционные работы.
8. Работы по публикации выставки и др.¹²

На документе имеется надпись карандашом: «Получено 31.VIII-34» и подпись Филиппова. Нет сомнения, что Филиппов – автор документа. Но под самим документом стоит подпись Алексея Степановича Башкирова (1885–1963), археолога, специалиста по древней и средневековой истории, искусствоведению и архитектуре, этнографа и краеведа, культуролога, которого к этому времени фактически отлучили от археологии; в 1932–1934 гг. он был действительным членом Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП), а с 1934 г. – действительным членом Всесоюзной академии архитектуры (ВАА).

В архиве Филиппова нет свидетельств личных контактов с Башкировым, но совпадение биографических данных говорит в пользу тесного сотрудничества ученых. Видимо, их знакомство произошло уже в 1913 г., когда оба учились в Археологическом институте¹³. Затем и тот и другой служили в Историческом музее, где Филиппов в 1920-е гг. работал при Отделе силикатов в качестве бесплатного консультанта¹⁴, а Башкиров заведовал отделом византийских древностей. В 1934 г. их пути пересеклись снова, на этот раз – во Всесоюзной академии архитектуры. Работа одних и тех же сотрудников в разных учреждениях, чаще принадлежавших к одной отрасли, была в 1920–1930-е гг. обычным делом и объяснялась недостатком квалифицированных кадров, который устранялась разрешением работать по совместительству.

Кроме этой докладной записки в архиве нет материалов об этой выставке. Возможно, она состоялась, но в совершенно ином виде, так как в письме в Московский отдел Союза советских архитек-

¹² Архив Филиппова. Машинопись.

¹³ В 1918 г. Филиппов получил диплом «о прохождении полного курса наук археологического отделения». Диплом хранится в архиве Филиппова.

¹⁴ Архив Филиппова. Машинопись.

торов от 2 апреля 1937 г., поддерживавшем ходатайство принять Филиппова в члены Союза, среди его заслуг упоминаются доклад «Керамика и архитектура», а также его участие в «соответственной выставке в Доме Архитектора»¹⁵.

*Проект для Исторического музея:
А.В. Филиппов и С.А. Башкиров*

Уже через месяц (5 сентября того же 1937 г.) А.В. Филиппов представил свой следующий проект – «Эскизный тематический план выставки художественной архитектурной керамики»¹⁶ – и подкрепил его составленной 16 октября запиской «Народно-хозяйственное и культурное значение выставки художественной архитектурной керамики». На последней странице документа карандашом поставлены необходимые подписи – профессоров А.С. Башкирова и А.В. Филиппова с указанием адресов их проживания¹⁷.

В записке Филиппов указывает:

Выставка художественной архитектурной керамики в историческом разрезе с древних времен до наших дней устраивается впервые не только в нашей стране, но и вообще в культурных странах мира. Поэтому, по своей новизне она представляет международный интерес, как общекультурный (художественный и исторический), так и специальный (архитектурный и технологический).

Ее научно обработанные и систематизированные экспонаты из всех крупнейших музеев СССР должны раскрыть и обнародовать весьма ценное культурное наследство. Это наследство весьма важно для молодой, ищущей путей советской архитектуры и для поднятия культурного уровня и расширения кругозора ее молодых кадров: оно важно и для вновь и впервые в нашей стране создаваемой заводской промышленности керамических облицовочных материалов, которой надо выбирать и технологические, и художественные пути.

Выставка ставит целью пропаганду данного материала, как могущего дать: 1) радостное, красочное и пластическое искусство с возможностью подъема его качества до мировых шедевров, 2) гигиеничность и несравнимую с другими материалами вековую прочность, 3) возможность использования для его производства ресурсов местного сырья.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

Историзм выставки, экспонирование произведений древних культур необходимо, так как именно там можно найти высокое художественное качество облицовочной керамики. Ограничение более узкими историческими рамками, например, 20-м или 19-м веками не может дать нужного эффекта показа культурного наследства в этой области: капиталистический строй создал методы массового производства этих материалов, но не создал своего высокого искусства, равного предшествовавшим эпохам. Представление об облицовочной керамике, основанное только на практике 19-го и 20-го века, порождает неверное заключение о художественных возможностях этого материала¹⁸.

Выставку «Художественная архитектурная керамика» предлагалось провести в Историческом музее с 1 января по 1 мая 1935 г.¹⁹

У этого сюжета имеется предыстория. 16 ноября 1928 г. А.С. Башкиров сделал заявление Ученому секретарю Государственного исторического музея: «Прошу Вас поставить вопрос о выставке по поливной керамике и возможности в возможно широком масштабе на обсуждение». Необходимость проведения выставки в ГИМ он объяснял следующим образом:

В последние годы в археологических и историко-художественных кругах Москвы и Ленинграда резко встал вопрос об изучении поливной керамики преимущественно средневековой эпохи. За годы археологических исследований на юге Вост. Европы, Средн. Азии, в Подолянске да и в центральных областях накопился огромный материал. Поливная керамика в своих образцах в огромных количествах находится в ГИМ, Музее вост. культур, Музее изящных искусств, в Музее Науковедения, Государственном Эрмитаже, Русском музее, музеях Саратова, Казани и др., а также в Самарканде. Вся керамика древности и прежде всего Средневековья имеет смутный «фабричный» провенанс, смутна ее терминология, отрывочны и разбросаны сведения об ее технике, чрезвычайно не ясна ее терминология, скудна и литература по поливной керамике... выставка таким образом могла бы иметь значение и научное и практически-производственное²⁰.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Площадь выставки около 600 кв. м в помещении всех залов верхнего этажа Исторического музея. Срок открытия I/I-35 г. при условии предоставления залов за два месяца до открытия выставки.

²⁰ ОПИ ГИМ. НВА. Оп. 2. Ед. хр. 29 (1928). Л. 39, 39 об.

В этом заявлении Башкиров упоминает о своем соратнике Филиппове, вместе с которым он формулирует цели и задачи проекта:

Выставка могла бы сопровождаться колоссальной по интересу лабораторной работой. Она могла бы связаться с Государственным Институтом Силикатной промышленности, где проф. А.В. Филиппов специально работает над древней поливной керамикой²¹.

Находки в архиве ГИМ

Обращение к архивным документам ГИМ, которые были найдены в его Отделе письменных источников, существенно дополнило картину развернувшегося обсуждения проекта²². Заявление обсуждалось на двух заседаниях III-го, Исторического-Специального отдела ГИМ²³. На заседании 17 декабря среди прочего было отмечено, «что против необходимости выставки спорить нельзя, но нужно точно определить границы содержания выставки и выработать ее план»²⁴.

На втором заседании – 31 декабря – предложение Башкирова обсуждалось более подробно, участники высказывали разные мнения. Так, А.Н. Топорнин полагал, что «дело внушает некоторые сомнения по неясности некоторых хронологических границ выставки и по затруднительности увязать исторический аспект с производственным моментом. Грандиозность предложенной выставки заставляет задуматься о комиссии, составленной из представителей разных учреждений»²⁵. В итоге решение было отложено на годы.

В конце 1934 г. Башкиров и Филиппов вновь вернулись к идее проведения выставки в Историческом музее. 8 января 1935 г. А.С. Башкиров был уволен со всех постов и арестован²⁶. Эти обстоятельства во многом определили судьбу проекта.

²¹ Там же. Л. 39 об.

²² Приношу благодарность научному сотруднику ОПИ ГИМ И.В. Клошкиной за предоставление этих сведений.

²³ ОПИ ГИМ. НВА. Оп. 1. Ед. хр. 194 (1928). Л. 66, 67. Протокол заседания III-го, Исторического-Специального отдела ГИМ 17/XII-28.

²⁴ Там же. Л. 66.

²⁵ Там же. Л. 67.

²⁶ Вслед за ним 14 февраля 1935 г. по обвинению в создании контрреволюционной националистической группы и контрреволюционной деятельности были арестованы А.А. Захаров и И.Н. Бороздин – видные ученые-археологи, профессора, известные специалисты по истории Древнего мира. 14 сентября 1937 г. за контрреволюционную деятельность все трое были посланы на три года (считая со дня ареста) в Казахстан. В 1940-е гг. Башкиров и Бороздин вернулись к преподаванию.

Изучение с позиций современного кураторства прописанной в «Эскизном тематическом плане выставки» программы работ по ее организации заставляет усомниться в возможности воплощения этого проекта²⁷. И не только из-за жестких сроков, разнообразия экспонатов, но также из-за широты тематики выставки, которая, в сущности, должна была стать энциклопедией мировой архитектурной керамики. Вот ее предполагаемые разделы:

1. Древний феодальный период: Египет, Вавилон, Ассирия, Индия, древняя Персия, Эгеида; 2. Средневековое феодальное общество: Византия с культурной периферией; 3. Арабо-персидские страны с Испанией арабо-мавританского периода, с Средней Азией территории СССР, Кавказом и Поволжьем; 4. древняя Русь (до XV в.); 5. Эпоха разложения феодализма и – капитализма: Испания, Италия Франция, Голландия, Германия, Англия. – Россия Московского периода (XVI, XVII в.); Россия Петербургского периода (XVIII, XIX и нач. XX в.); 6. Современная Западная Европа и Америка; 7. Советский период (перспективы)²⁸.

О сложности реализации этого проекта в кратчайшие сроки свидетельствует программа, разработанная Филипповым, которая включала:

- «1. Схему программы, определение масштаба и сроков выставки, предварительная смета.
2. Составление предварительного тематического плана.
3. Подписание договора с руководителями выставки.
4. Составление предварительного списка объектов показа.
5. Обмеры помещения выставки.
6. Организация научной бригады.
7. Подготовка к сбору экспонатов: хранилище для экспонатов, организация их охраны, рассылка пригласительных писем об участии на выставке.
8. Привлечение подсобного персонала.
9. Учет наличных памятников архитектурной керамики в СССР.
10. Сбор экспонатов в Москве и окрестностях.
11. Сбор экспонатов в Ленинграде, Киеве, Полтаве, Ростове, Ярославле, Калуге, Казани, Саратове, Самарканде, Бухаре, Баку.

²⁷ Еще одним свидетельством в пользу того, что выставка не состоялась, является отсутствие документов в архиве ГИМ.

²⁸ Архив Филиппова. Машинопись.

12. Приглашение зарубежных фирм (через ВОКС).
13. Инвентаризация экспонатов.
14. Связь с советским производством: задания заводам и мастерским, привлечение художников-проектировщиков и архитектурных проектных мастерских; наблюдение и контроль за работой.
15. Паспортизация и научная обработка экспонатов.
16. Проработка проблем архитектурной керамики (исторических, искусствоведческих, архитектурно-строительных, технологических; реконструкция, библиография, переводы, рефераты, карты, фотографии, кинофильмы).
17. Составление окончательного тематического плана.
18. Составление экспозиционного плана, этикетаж, заголовков.
19. Составление графика экспозиции.
20. Составление общего проекта экспозиции (на 600 кв. м).
21. Сопроектировка оформления отдельных тем, рабочие чертежи и строительно-экспозиционная схема»²⁹.

Автор и его немногочисленная команда уже полностью готовы к выставке: к «Эскизному тематическому плану выставки» прилагается смета; продуманы и, возможно, изготовлены многие оформительские материалы (сказалась практика работы по экспонированию в Музее керамики и на Постоянной всесоюзной строительной выставке); предметы отобраны и замерены в ходе многолетнего изучения коллекций крупнейших музеев. К этому времени была сформирована и часть будущей коллекции архитектурной керамики самого автора³⁰.

Наиболее детально Филиппов разработал и прописал российскую часть выставки. Видно, что автор давно вынашивал этот проект и имел четкое представление о будущих экспонатах, рисунках, текстах, макетах, чертежах: в ряде случаев он даже приводит размеры предметов (возможно, Филиппов предполагал, что этот раздел привлечет внимание руководства в первую очередь).

Перед нами история русской архитектурной керамики, размещенная в нескольких разделах:

1. Облицовочные плитки в великокняжеском строительстве Киева X–XIII вв.; 2. Облицовочная керамика феодальной архитектуры Золотой Орды XIII–XV вв.; 3. Облицовочная керамика Мос-

²⁹ Там же.

³⁰ После смерти А.В. Филиппова коллекция керамики и библиотека, собиравшаяся им годами и включающая сотни томов профессиональной литературы, были переданы женой и соратницей мастера, С.В. Филипповой, в дар Строгановскому училищу.

ковской Руси XV–XVII вв. эпохи разложения феодализма; 4. Живописные изразцы с начала 18-го века; Изразцовые заводы начала 19-го века; 5. Перспективы развития советской майолики³¹.

Эскизный тематический план выставки характеризует Филиппова как абсолютного и единственного на тот момент в России знатока архитектурной керамики, универсального ученого, стремящегося положить в основу изучаемого материала рациональное, фундаментальное знание и практику инженера-технолога, архитектора-реставратора и художника-орнаменталиста. При демонстрации керамики предполагается наиболее детально показать развитие орнаментов, начиная с «мотива “непрерывной лилии” и его происхождения» в домонгольской керамике; рассматривается «стилевой анализ: сюжетика, трактовка изразцового поля, рисунка и рельефа» древнерусских изразцов, сопоставляется «связь с другими худож[ественными] производствами», выявляется «происхождение мотивов изображения росписей изразцов 18 века», а также прослеживается «эволюция стиля изразцов и печей того же времени»³².

Экспозиция продолжается показом деятельности «российских изразцовых заводов 19-го века» и замечательно продуманным разделом, связанным «с возрождением цветной майолики». Это время, в котором Филиппову удалось оставить свой след: «Строгановское училище, заводы Масленикова, Гужева, Гусарева, Кузнецова и др. Новая майолика стиля модерн. Абрамцево, Мурава, Кикерино, Талашкино (Врубель, Коненков, Малютин, Васнецов, Сорохтин, Ефимов и др.)»³³.

С последним разделом выставки были связаны наибольшие ожидания Филиппова. Здесь он предполагал представить: «перспективы развития советской майолики. Новые эмали, работа институтов, ценинного дела. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН, Кикерино. Волховская гидроэлектростанция, Кожевнические бани, проекты станций метро»³⁴.

Филиппов предполагал при экспонировании уделить особое внимание различным технологиям производства керамики – фарфора, фаянса, терракоты, майолики. Он планировал продемонстрировать процесс от «техники росписи вручную, без припороха и трафарета» до «новых эмалей замены олова» современного периода, макеты средневековых горнов и новейшие обжигательные печи.

³¹ Архив Филиппова. Рукопись.

³² Там же.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

Документ наглядно иллюстрирует сформировавшийся к этому времени подход ученого к материалу. Он считал, что роль технологии, особенно в прикладных искусствах, выявляется только при соединении ее изучения со стилистическим анализом. Об этом он писал еще в 1923 г.:

Мною впервые применен новый метод научного исследования древних русских изразцов – метод технического и стилистического анализа памятников. Такой метод, тщательно проведенный, дает возможность установить школы и эпохи изразцового дела в Древней Руси, обрисовывая целый ряд особенностей каждой школы.

Я пытался объяснить процесс развития не с помощью длинных рассуждений, сколько обращал внимание на последовательный ряд проявлений этого процесса³⁵.

На характер предполагаемой выставки повлияло время. Наиболее интенсивно Филиппов изучал изразец в период «ударного сноса» в российских городах исторических зданий, украшенных изразцовым декором. Ученый был прекрасно осведомлен об этих невосполнимых утратах. Аннотируя раздел, посвященный расцвету русского изразца в XVII столетии, он избегает оценки этого периода, отходит от создания детальной картины использования изразцов в убранстве средневековых памятников архитектуры, главным образом в церковном зодчестве.

В это время немногочисленные коллекции изразцов пополнялись образцами, полученными в ходе сноса в Москве большого числа архитектурных памятников.

Заключение: проект Филиппова и его время

Велико искушение отнести этот проект к числу «бумажных», упрекнув Филиппова в прожектерстве как родовой черте «социалистической действительности», характерной для первых послереволюционных десятилетий. Действительно, в то время было создано множество неосуществимых и неосуществленных проектов, в том числе и архитектурных – Дворец Советов, первые небоскребы тех лет. В 1930-е гг. этот утопизм поддерживался тем, что часть все же – и неожиданно для всего мира – реализовать удалось. Электрификация и модернизация промышленности уже приобрели черты реальности, строилось метро, осуществлялись художественные выставочные проекты за границей и внутри страны. Характерными были большие музейные экспозиции, позже оказавшиеся нежизне-

³⁵ Там же.

способными (Музей мебели), а также учебные, «разъясняющие» выставки. Главной функцией искусства в то время считалась пропаганда – так почему же не показать архитектурную керамику как технологичный, достаточно дешевый в производстве материал, пригодный для агитационных целей?

Из музеев, ранее воспринимавшихся как хранилища и святилища, Филиппов предполагал извлечь на выставку предметы, в ряде случаев совершенно не известные, и создать новую экспозицию как средство агитации и пропаганды определенных материалов, как площадку для обучения (в 1920–1930 гг. училась вся страна), наконец, как средство аналитической научной работы, осуществляемой в ходе построения выставки ее создателями – единомышленниками автора.

По проекту Филиппова, активного промоутера искусства керамики, выставка становилась агитационной и неизбежно приобретала плакатный характер: на ней продвигались идеи и демонстрировались возможности искусства керамики в архитектуре.

В дальнейшем А.В. Филиппов не обращался к столь масштабным выставочным проектам. Его выставки были скорее отчетными мероприятиями. В 1936 г. газета «Вечерняя Москва» сообщала, что в Доме архитектора проходит Выставка художественных керамических изделий (около 800 экспонатов), изготовленных мастерской Всесоюзной академии архитектуры, и отмечала, что

...архитекторы и строители не проявляют особого интереса к керамическим изделиям. В проектных мастерских, в конторах прорабов керамические плиточные изделия почему-то рассматриваются как материал, имеющий больше санитарно-техническое, нежели художественное и декоративное значение³⁶.

Упомянутый в плане выставки раздел «Перспективы развития советской майолики» приобрел реальные черты. Почти одновременно с работой над выставкой в 1934 г. уже начались организационные работы по созданию «опытной установки по архитектурной художественной керамике» или, как ее часто называли в документах, лаборатории «Керамическая установка»³⁷. Возглавив лабораторию, А.В. Филиппов останется в должности ее заведующего до самой смерти, являясь, по собственным словам, ее «инициатором, идейным вдохновителем, организатором и научным руководителем»³⁸.

³⁶ РГАЭ. Ф. 293. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 21.

³⁷ В документах встречаются различные названия лаборатории: «Лаборатория керамики», «Лаборатория – Керамическая установка», «Опытная установка по архитектурно-художественной керамике», «Лаборатория архитектурной керамики», «Керамическая лаборатория».

³⁸ Автобиография А.В. Филиппова. Архив Филиппова.

В этом проекте ярко выступают творческие черты Филиппова, его преданность раз и навсегда выбранной области деятельности, исключительная многогранность подхода. По сути дела, он представлял собой тип специалиста эпохи Возрождения, воплощавшего в одном лице художника, ремесленника и инженера. Во всяком случае интерес к технической стороне дела и науке, технологиям исключительно удачным образом совпал с его художественными интересами в архитектуре, декоративном искусстве, теории и практике построения орнамента и сочетался со стремлением к открытию и широкому применению новых типов изделий.

Несомненно, воплощение уникального выставочного проекта дало бы огромный толчок к изучению русской архитектурной керамики. В известном смысле он все-таки был получен: многие свои наблюдения и положения проекта мастер положит позднее в основу своих трудов, ставших классическими [3].

Литература

1. Керамическая установка: По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова. М., 2017. 472 с.
2. *Зубанова Н.А.* Музей фарфора – отдел Объединенного музея декоративного искусства (1924–1929) // Вестник Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. 2016. № 4 (38). С. 12–17.
3. *Филиппов А.В.* Древнерусские изразцы. Вып. 1: XV–XVII вв. М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры. 1938. 92 с.

References

1. *Ceramic installation. According to the materials of the archive and collections of A.V. Filippov.* Moscow, 2017. 472 p. [In Russ.]
2. *Zubanova NA.* Museum of Porcelain – Department of the United Museum of Decorative Arts (1924–1929) V: *Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta imeni P.G. Demidova.* 2016;4:12-7. [In Russ.]
3. *Filippov AV.* Old Russian tiles. Rel. 1: 15th–17th centuries. Moscow: Izdatel'stvo Vsesoyuznoj akademii arhitektury Publ.; 1938. 92 p. [In Russ.]

Информация об авторе

Светлана И. Баранова, доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6; svetlanbaranova@yandex.ru

Information about the author

Svetlana I. Baranova, Dr . of Sci (History), Cand. of Sci. (Art History), Russian State University for the Humanities; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; svetlanbaranova@yandex.ru

УДК 75.056(47)

DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-100-117

Маркеры «советского» в детской иллюстрации 60–80-х годов XX в.

Жанна В. Уманская

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, zh.umanskaya@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена поиску маркеров «советского» в детской иллюстрации. Исследуя частное книжное собрание детских иллюстрированных книг 1960–1980-х гг. и коллекции репринтов современных издательств, автор ищет причины востребованности советских изданий у современного потребителя. Дается визуальный анализ особенностей изображения советских детей в государственной многотиражной продукции. «Советское» рассматривается как обозначение идеологии конкретного авторитетного дискурса, в явном виде пронизывающей содержание и форму некоторой доли детских книг указанного периода, и как временная рамка создания целого корпуса высокохудожественных изданий на темы, далекие от революционной патетики и коммунистических идей. Опираясь на модель А. Юрчака, автор констатирует режимы «внеаходимости» и «для своих» как способы творческой самореализации художников-иллюстраторов советского периода. Двойственность и внутренняя противоречивость режима «внеаходимости» порождает, по мнению автора, феномен советской детской иллюстрации в восприятии современных поколений.

Ключевые слова: советская иллюстрация 60–80-х гг. XX в., маркеры «советского», потребительский интерес к советской детской иллюстрированной книге, «внеаходимость», А. Юрчак

Для цитирования: Уманская Ж.В. Маркеры «советского» в детской иллюстрации 60–80-х годов XX в. // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 100–117. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-100-117

Markers of “Soviet” in children’s illustration of 60–80s of 20th century

Zhanna V. Umanskaya

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; zh.umanskaya@mail.ru

Abstract. The article is dedicated to the search for “Soviet” markers in children’s illustration. The author conducts the search for the reasons of demand of the Soviet editions at the modern consumer by researching private book collection of children’s illustrated books of 1960–1980th years and collection of reprints of modern publishing houses. The author provides the visual analysis of features of the image of the Soviet children in the state-approved books. “Soviet” is considered as a symbol of the ideology of a specific authoritative discourse, which clearly defines the content and form of a certain proportion of children’s books of this period, and as a time frame for the creation of a whole corpus of highly artistic publications on topics far removed from revolutionary pathetics and communist ideas. The author states, using the model of A. Yurchak, that the modes of “sub-reachability” and “for his own” are the ways of creative self-realization of the artists-illustrators of the Soviet period. The duality and internal contradictions of the regime of “sub-reachability” are the main reasons for the rise of the phenomenon of the Soviet children’s illustration in the perception of modern generations.

Keywords: Soviet illustration of the 1960–1980s, markers of the Soviet, consumer interest in the Soviet children’s illustrated book, “sub-reachability”, A. Yurchak

For citation: Umanskaya ZhV. Markers of “Soviet” in children’s illustration of 60–80s of 20th century. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8:100-117. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-100-117

Введение

До сих пор заметную долю на книжном рынке составляют различные варианты переизданий детских иллюстрированных книг советского периода. Причины работы издательств со старыми продуктами весьма разнообразны: коммерциализация ностальгии по детству–юности и советскому прошлому, наличие готовых макетов и решенные проблемы с авторскими правами, эстетические предпочтения и идеологические установки. Спрос на продукт еще сохраняется, следовательно, он каким-то образом функционирует в нашей повседневности. Являются ли книги, рожденные в другое время, привычными и родными по смыслам и интенциям для современного ребенка? Или их участь стать пыльной составляющей

семейной коллекции «чтобы было», практикой сохранения памяти о собственном детстве старших поколений? Что могут считать в этих посланиях из прошлой жизни современные взрослые и их дети? Что делают с контентом текстовым и иллюстраторским сами издатели, чтобы прививка из советских книжек на новых поколениях прошла успешно? Можно ли говорить о реинкарнации «советского стиля» в работах современных художников? Вопросов много, поэтому в своей статье я коснусь лишь некоторых из них.

Советский период – это продолжительный срок с 1918 по 1991 г., за который несколько раз менялась идеология культурной политики Советского государства, а вслед за этим менялся и облик детской книги. Если попытаться очерчивать границы в истории советской детской иллюстрации, то первый период: это 20-е и начало 30-х гг.; второй период: вторая половина 30-х – начало 50-х гг., третий период: оттепельные 60-е (с бурными спорами между «книжниками» и «станковистами»¹), которые плавно перетекли в 70–80-е гг.

Опора на узнаваемость массовым покупателем обложек и книг своего советского детства выделила вполне определенный временной пласт для многотиражного репринта. Именно иллюстраторский бум в советской детской литературе 60–80-х гг. оказался в зоне пристального внимания и современных потребителей (тех, кому за 35), и производителей. Серии типа «Любимая мама/бабушкина книжка» отсылают, конечно же, не к первым годам молодой советской республики, а ко времени молодости первого и второго послевоенных поколений. Замечу сразу, что репринты книг 20–30-х гг. также присутствуют на книжном рынке², но они не столь значительны по тиражам и привлекательны скорее для профессионалов (библиографов, искусствоведов, коллекционеров), а не для рядовых читателей. Оригиналов книг эпохи авангарда в семейных коллекциях сохранилось крайне мало, для многих ныне живущих взрослых они непривычны по стилю, не окрашены личными воспоминаниями и эмоциями, а потому – неинтересны.

Практика показывает, что «советские» книжки 60–80-х гг. выхватываются взглядом из общей массы интуитивно и, чаще всего, безошибочно не только взрослыми, но и современными детьми и подростками. Последние вполне различают книги с разными графическими манерами: «как раньше» и «как сейчас», хотя и те

¹ Отражение одной из позиций см.: *Чегодаева М.А.* Искусство, которое было: Пути русской книжной графики, 1937–1980. М.: Галарт, 2014. 368 с.

² См. серию «А+А» издательства «Ad Marginem» или серию «Детям будущего: книги 20–30-х годов» издательства «Арт-Волхонка».

и другие могут быть выпущены только-только. Есть подозрение, что маркеры «советского» в иллюстрациях вполне идентифицируемы не только на интуитивном, но и на рациональном уровне, чему и посвящено это исследование. Моя задача – определить, какого типа иллюстрации подпадают под категорию «советского» и каким образом юный читатель различает «советскость», на чем основана востребованность такого рода продукции.

«Время ушедшее» на фоне его забывания неизбежно мифологизируется и теми, кто его проживал, и теми, кто не жил в нем. Можно указать на две альтернативные линии мифологизации по отношению к советскому периоду российской истории – его демонизирование и его романтизацию. Маятник оценок колеблется от «все было ужасно и созданные культурные продукты не имеют художественной ценности» до «в старые добрые (советские) времена все, в том числе детские книги, делали качественно». Мой исследовательский и преподавательский опыт позволяет говорить о преобладании положительных коннотаций при описании современными детьми конкретных книг и иллюстраций, независимо от времени их появления, при маркировке их как советских. Но при более подробных опросах становится понятно, что очень трудно определить, что именно вызывает теплое отношение и с чем конкретно оно соотносится. Ребенку трудно разграничить, оценка ли это только иллюстраций книги или любимого текста или, может быть, включаются ассоциации с собственным детством и с детством родителей (книжка-то еще их), а тексты и картинки суть лишь триггеры памяти. Квалификация издания как советского демонстрировала ее дистанцированность по отношению к текущему моменту, тем самым подчеркивалось, что «это не современная книга» и способ ее иллюстрирования устаревший: «хотя и красивая, сейчас по-другому рисуют».

Методы исследования

Построение концепта «советское» – это обширная и актуальная междисциплинарная область, многие современные исследователи ищут маркеры «советского» в социокультурных практиках разного масштаба как в минувшем, так и в дне сегодняшнем³. Одна из наиболее близких мне концепций – модель А. Юрчака, предложенная

³ См., например, сборники за разные годы конференций Европейского университета в Санкт-Петербурге «Конструируя “советское”? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности».

в его книге «Это было навсегда, пока не кончилось» и конструирующая советскую повседневность с помощью понятий «внеаходимости» и «своих» [1].

Анализ графического контента требует применения методов визуальных исследований. В своем построении и интерпретации я опиралась на работы Р. Барта [2] и П. Штомпке [3]. Оба автора в основном описывали методологию исследования фотографий, но алгоритмы визуальной социологии в изучении фотографий можно применять с некоторой коррекцией и адаптацией и к книжной графике в целом, и к детской иллюстрации в частности. Общий подход к анализу иллюстраций как составляющей пространства книги, определяемого культурным и историческим контекстом, выполнен с опорой на работы Ю.Я. Герчука [4–5].

Описание источников

В качестве источников исследования были выбраны две группы объектов: *частное семейное собрание* детских книг, изданных в Советском Союзе и позже, и *современные переиздания детских иллюстрированных книг 60–80-х гг.*

Частное семейное собрание

Частное семейное собрание является набором книг, которые были доступны для покупки среднестатистическим по доходам и условиям жизни семьям, проживавшим в Московском регионе в 60–90-е гг. XX в. Владельцы собрания не имели возможности приобретать книги по специальным условиям, в комплектации семейного собрания не было определенного художественного или контентного принципа: это были спонтанные покупки того, что можно было вдруг застать на прилавках магазинов с учетом книжного дефицита. По социальному положению и образованию это была семья инженеров без какого-либо художественного образования или соответствующего круга общения, т. е. при покупке отсутствовали специальные профессиональные рекомендации по поводу качества оформления книг и необходимости обязательно найти какую-либо конкретную книгу. Единственным ориентиром были содержание текста и простой интуитивный выбор «нравится или нет» в сам момент покупки. В собрании практически нет иллюстрированных детских книг, изданных ранее 1966 г. (за исключением нескольких экземпля-

ров в мягких обложках 1948–1960 гг. и нескольких книг для подростков в твердом переплете с полосными черно-белыми иллюстрациями), нет полиграфических и библиографических редкостей. С 60-х гг. книги покупались с постоянной регулярностью. На основе перечисленного, я полагаю, такое собрание позволяет исследовать особенности книжной графики в тиражных массовых изданиях для детей в последнюю треть XX в. с точки зрения рядового городского потребителя. Собрание дает возможность увидеть иллюстрации в типовых детских книгах, которые были частью визуального повседневного окружения поколений, рожденных после 60-х гг. На книгах собрания выросло не только советское поколение этой семьи, но и дети, рожденные в постсоветской России. Общение с членами указанной семьи дают возможность привлечь семейный опыт по взаимодействию с книгами собрания в прошлом, а также услышать мнение о них представителей разных поколений.

Книжный рынок переизданий. Типы издательских продуктов

В настоящее время на книжном рынке можно найти около 20 специализированных серий различных издательств. Многие издательства переиздают советские книжки вне серий или же включают их в серии с более широкой тематикой и набором авторов. Существует несколько разновидностей продуктов в сегменте «советские книжки»: это репринтное издание книги как целостного продукта («как было»); издание нового макета при использовании старых чистовых иллюстраций; издание текста, написанного в советское время, в современном обрамлении, но выполненного в советской стилистике. Ни один из сложившихся видов не воспроизводит полностью оригинальные издания.

*Репринтное издание*⁴. Эти книги, в большинстве своем, и не претендуют на аутентичность, так как при их печати использованы современные краски и бумага, может быть изменен в большую или меньшую сторону формат книги и тип обложки (например, мяг-

⁴ См., например: Барто Агния Львовна. Художник: Михайлов Борис Павлович. Издательство: Речь, 2017 г. Серия: Любимая мама книжка. Текст печатается по изданию: *Барто А.* В школу: стихи. Л.: Художник РСФСР, 1966. Подробнее: <https://www.labyrinth.ru/books/605847/>

кая обложка на твердый переплет). Большая цветность и яркость современных переизданий, по отношению к исходным картинкам, объясняется часто одним из двух факторов. Во-первых, авторские иллюстрации могли быть яркими и с необычными колористическими решениями, но достаточно низкое качество бумаги и технологии офсетной печати того периода нивелировали все изыски художника, делая картинки тусклыми. Современные методы печати в таком случае демонстрируют нам, как это задумывалось на самом деле. Второй фактор связан с активностью самих издателей, когда движки графических редакторов перемещаются в сторону больших контрастов и яркости, так как современный зритель приучен к интенсивным сочетаниям и книга в сдержанной гамме может оставить его равнодушным.

*Новая верстка старых иллюстраций*⁵. Формально рисунки взяты из первого издания, но они не все представлены по количеству и распределение их на листе иное. Это в целом меняет размер и форму цветового пятна на странице, динамику его восприятия зрителем. Получается, «та книжка», но не совсем.

*Старый текст в современном обрамлении, но в советской стилистике*⁶. Многие издательства сотрудничают с мэтрами, эксплуатируя их «советскость» в новых иллюстрациях и поддерживая их стиль рисования. Современный ребенок живет в другом бытовом окружении, и заботливый иллюстратор рисует для текста советских времен вышедшие из употребления вещи так, чтобы можно было составить о них хоть какое-нибудь представление. По понятным причинам уходящему поколению художников советской иллюстраторской школы сделать такую работу проще: они тогда жили и видели многое собственными глазами. Многие стереотипы о характерных чертах определенного исторического периода складываются несколько позже самого периода. Сегодня, с позиции времени, их даже легче воспроизводить с помощью сложившихся профессиональных штампов и определенных графических приемов. Стоит специально отметить, что есть и современные молодые иллюстраторы, работающие в легко узнаваемой советской стилистике⁷.

⁵ См., например: *Антоневич М. Цыплята*. Серия «Странички-нивелички». СПб.; М.: Речь, 2016. Ил. Л.Б. Рыбченковой. Текст печатается по изданию 1967 г.

⁶ См., например: *Носов Н. Находчивость*. М.: Нигма. 2017. Ил. Г.М. Мазурина.

⁷ См., например: *Ерошин А. Я гулял на облаках*. СПб.: Качели. 2017. Ил. Е. Бауман.

Результаты исследования

Изучение особенностей иллюстраций детских книг из частного семейного собрания и переиздаваемой литературы показывает, что в этих иллюстрациях можно выделить разные уровни бытования «советского». Причем происходит смешение, как минимум, двух восприятий, двух пониманий и употребления слова.

Во-первых, *«советское» как определенное идеологически окрашенное содержание*, установка, практика, поведение, связанное с риторикой авторитетного дискурса⁸. Отмечу сразу, что за рамкой исследования остались произведения, чей сюжет был не про советскую действительность, но темы социального или национального неравенства позволяли через иллюстративный ряд транслировать советские установки⁹.

Во-вторых, *«советское» как временная рамка*, т. е. что-то произведенное в определенное время в конкретной стране, но не отсылающее прямо к советской идеологии. Это случай, когда ребенок воспринимает продукт советским не по содержанию, а по художественно-эстетическим приемам, характерным для того времени. Личное взаимодействие с книгами домашнего собрания позволяет детям интуитивно классифицировать их и узнавать определенные типы издательских продуктов, в том числе маркировать некоторые современные иллюстрации: «А здесь нарисовано как в старых книжках», имея в виду книги детства своих родителей (т. е. советские книги) и фиксируя именно этот мотив-связку: «время=графические приемы».

Очевидно, что советские иллюстраторы, несмотря на различия в мировоззренческих установках, направляемые собственными желаниями и социальным заказом от издателей, будучи частью исторически обусловленной среды, вольно или невольно транслируют в своем творчестве идеи и ценности своего времени, сохраняя (консервируя) графическими методами дух эпохи. Интересно обнаружить эти свидетельства в готовых книжных макетах советского периода как первой группы, так и второй.

⁸ См., например: *Калмыкова Д.* Образ ребенка на обложках «Мурзилки» (1954–1964) // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы девятой международной конференции молодых ученых (16–18 апреля 2015 года, Санкт-Петербург). СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. С. 62–69.

⁹ См., например, иллюстрации к произведениям Дж. Родари, М. Твена или М. Рида.

В «советском», как в идеологически окрашенном книжном продукте, условно можно выделить две большие группы произведений и соответственно иллюстраций к ним. Это книги, сюжетно явно определяемые авторитетным дискурсом (о революции, о Гражданской и Отечественной войнах, о революционных и государственных деятелях, о пионерах, комсомольцах и коммунистах), и книги о повседневной жизни советских детей (об обычных мальчиках и девочках). Идентификация первой группы как «советское» не требует особых усилий. Атрибуты «советского» (галстуки, пионерские и комсомольские значки, костры и знамена), изобилие красного, строгость и пафосность выдают себя с головой¹⁰. Многие произведения В. Маяковского¹¹, С. Михалкова¹², А. Барто¹³ и других авторов своей советской риторикой диктуют определенный стиль иллюстрирования.

Гораздо интереснее, на мой взгляд, анализ книг, в которых главные герои – обычные дети, без акцентирования на их статусе октябренька или пионера. В таких книгах описаны досуг и школьные будни, товарищеские и семейные отношения, т. е. те повседневные практики, в которые погружен процесс взросления. Именно в иллюстрациях А. Каневского, например, к рассказам Н. Носова¹⁴, к В. Драгунскому¹⁵, В. Лебедева ко многим стихам С. Маршака¹⁶ имеет смысл искать явное и неявное «советское», зафиксированное характерными художественными приемами.

¹⁰ См., например: *Баруздин С.* Шел по улице солдат. М.: Детская литература, 1985. Ил. А. Иткина; *Гайдар А.* Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове. М.: Детская литература, 1969. Ил. Ю. Рейнера.

¹¹ См., например: *Маяковский В.* Кем быть? М.: Малыш, 1972. Ил. М. Скобелева; *Маяковский В.* Что такое хорошо и что такое плохо. М.: Детская литература, 1969. Ил. А. Пахомова.

¹² См., например: *Михалков С.* Дядя Степа. М.: Детская литература, 1967. Ил. Ю. Коровина (при очень выразительном образе дяди Степы нарисованы совершенно обезличенные дети).

¹³ См., например: *Барто А.* Собр. соч.: В 3 т. М.: Детская литература, 1970. Ил. Н. Цейтлина, А. Каневского, М. Митурича, Г. Мазурина, В. Горяева, Г. Никольского и других.

¹⁴ См., например: *Носов Н.* Витя Малеев в школе и дома. М.: Детская литература, 1970. Ил. А. Каневского; *Он же.* Веселая семейка. М.: Детская литература, 1975. Ил. А. Каневского.

¹⁵ *Драгунский В.* Поют колеса тра-та-та. М.: Детская литература, 1968. Ил. Ю. Зальцмана.

¹⁶ См., например: *Маршак С.* Стихи для детей. М.: Малыш, 1975. Ил. В. Лебедева.

После разгромной статьи 1936 г. «О художниках-пачкунах» в газете «Правда» от 1 марта [6] эксперименты и поиски нового языка книжной графики оказались под запретом, а детская книжная иллюстрация встала на путь социалистического реализма. Психолого-педагогические статьи советских исследователей о восприятии детьми искусства и иллюстраций [7] подвели тогда жесткую базу под определенный стандарт: какого размера, формы и сложности колорита должны быть рисунки в детской книжке, как использовать тональную и линейную перспективу, возможны ли отклонения от реалистичности изображения. Все это было не раз артикулировано и зафиксировано в регламентирующих документах и инструкциях.

Визуальный анализ графического контента книг домашнего собрания позволяет дать некоторую обобщенную характеристику «советского» стиля иллюстраций, изображающих повседневную жизнь детей 60–80-х гг. Несмотря на разнообразие авторских техник, художники придерживались заданных рамок и дополняли канон новыми особенностями. С одной стороны, в иллюстрациях можно обнаружить образцы того, как должно рисовать в духе социалистического реализма: натуралистично и узнаваемо, в полный размер объектов без выноса частей тела или вещи за рамку листа, без гротескных пропорций фигур и лиц персонажей, без карикатурных деформаций отдельных частей тела (удлиненных рук и ног, гипертрофированных носов и ушей, странных размеров глаз, рта и прочего)¹⁷. Карикатурность и мультипликационная динамика присутствовали и в книжной графике, но они были характерны либо для сатирических и юмористических произведений, либо для историй в картинках для детских периодических журналов.

С другой стороны, в иллюстрациях можно увидеть черты, явно не прописанные в инструкциях: благородная сдержанность и минимализм колорита, естественность цветов; эмоциональная сдержанность. Сильные эмоции есть, но они не истеричны, это не крик и не вопль по любому поводу. Ограниченность используемых ракурсов (крайне редко неожиданные ракурсы сверху или снизу) и отсутствие радикального масштабирования (нет сильной разницы в размерах изображаемого – кто-то очень большой, а кто-то очень маленький при сопоставимых реальных размерах) гарантируют защиту от резких скачков восприятия, защищают от внезапных случайностей. И особенно хочется обратить внимание на ход, на течение времени в маркируемых как «советские» изображениях.

¹⁷ См., например: *Пермяк Е.* Первая рыбка. М.: Малыш, 1974. Ил. О. Васильева.

Здесь особая темпоральность: очень медленное, практически остановленное время и статичность действий. Это чаще всего не бег и не удар, а фигуры, застывшие в фазе бега или удара. Все уже на месте, будущее воплощено уже здесь, прямо сейчас. Спокойствие и несуетливая размеренность. Спокойствие и основательность – одни из главных эмоций многих иллюстраций.

Бросается в глаза усредненность и типажность в образах детей – это дети «вообще»¹⁸. Конечно, если взять весь спектр существовавшего тогда иллюстрирования, то можно найти самые разные примеры и образцы, но то, что было доступно рядовому покупателю, создает некий общий усредненный образ, который похож на всех и ни на кого конкретно. Вы не обнаружите такого ребенка в толпе на улице – «О! Ты из книжки!». Рисунки А. Пахомова¹⁹, позднего В. Лебедева²⁰ задают канон рисования детей, который тиражируется бесчисленным количеством работ коллег-художников и доводится до графического идеала и лаконизма линий у малышей Г. Валька²¹. Дети не просто все на одно лицо, у них примерно одна и та же комплекция: нет толстых и худых, все крепенькие и с ровными ногами. Очень распространено изображать детей в коротких штанишках-трусиках: пышут здоровьем и уверенным спокойствием.

Даже если происходит что-то неправильное, то оно будет скорее подано в юмористической и оптимистической ноте, а не с интонацией ужаса и кошмара. Может быть, вот этот посыл уверенности в завтрашнем дне и есть то притягательное, за что многие любят советские детские книжки? Добро всегда побеждает зло, практически нет абсолютно отрицательных детских героев, есть те, кто ошибается или чего-то не ведает, но в конце, как правило, многих перевоспитают, т. е. у каждого есть шанс стать лучше, если ты не один, если есть друзья. И иллюстрации, спокойные, предсказуемые и понятные, добавляют эту уверенность в своих силах и в силу коллектива.

¹⁸ См., например: *Черепанов Ю.* Кирюшка помогает маме: Книжка-картинка. М.: Детская литература, 1986. Рисунки автора; *Полякова Н.* Снежки. Л.: Детская литература, 1967. Ил. О. Богаевской.

¹⁹ См., например: *Осеева В.* Волшебное слово. М.: Детская литература, 1972. Ил. А. Пахомова.

²⁰ См., например, иллюстрации В. Лебедева: *Маршак С.* Детям. М.: Детская литература, 1973.

²¹ См., например, иллюстрации Г. Валька: *Александрова З.* Мой мишка. М.: Детская литература, 1986; *Носов Н.* Про репку. М.: Детская литература, 1983.

Функционально – советская иллюстрация в детской книге о самих детях не создает иной мир, она дополняет и объясняет существующий, является книжным идеализированным продолжением привычного окружения ребенка. Усредненность образа, по идее, позволяет практически любому читателю идентифицировать себя с героем книжки. Не несет ли это еще один пласт значений о необходимости быть как все, не выделяться? «Я один из многих таких же, меня ждет такое же светлое будущее, как и всех граждан нашей самой лучшей страны».

«Советское» как временная рамка (исследуемые 60–80-е гг.) включает весьма разнообразную по жанрам детскую иллюстрированную литературу: огромными тиражами выпускались сказки разных народов, повести, рассказы и стихи дореволюционных писателей, рассказы о природе, фантастические истории о несуществующих мирах и существах, антропоморфные описания жизни зверей и растений. Все перечисленные сюжеты слабо цензурировались, так как не имели прямого отношения к советской действительности, что позволяло рисовать в свободной художественной манере, игнорируя идеологический диктат.

Надо отметить, что книги о советских детях и книги про все остальное иллюстрировали одни и те же люди²². Исторический и социокультурный контекст задавал рамку и для иллюстраций «не про советское». А. Юрчак в своем исследовании советских практик повседневности использует концепт «внеаходимости» [1 с. 255–310] для изучения такого существования внутри советской системы, когда индивид или группа реализуют свои потенции за счет ресурсов и практик советской системы, не солидаризируясь с ней и не противопоставляя себя ей. Автор подробно разбирает документы и личные свидетельства самых разных групп ленинградской образованной молодежи. «Внеаходимость», на мой взгляд, достаточно точно отражает реалии времени 70–80-х. Применительно к художникам-иллюстраторам эта идея позволяет конструировать саму возможность художественного высказывания, которое одновременно не являлось высказыванием в духе властного дискурса, но именно им было порождено и благодаря ему существовало. Те иллюстраторы, кто был допущен до советской издательской системы, были фактически привилегированным классом в среде художников – за счет огромных (многомиллионных) тиражей они могли позволить себе безбедное и профессиональное, и личное существование. Была возможность осуществления длительных и кропотливых проектов, что, конечно, повышало качество конечного про-

²² Ср. иллюстрации Ф. Лемкуля: *Баруздин С.* Шаг за шагом. М.: Детская литература, 1989; *Тувим Ю.* Слоны Хоботовский. М.: Детская литература, 1972.

дукта. Второй концепт работы А. Юрчака – «круг своих» [1 с. 212]. Человек, создающий интеллектуальный или творческий продукт, внутренне ориентирован на диалог с читателем или зрителем, разделяющим или оппонирующим его видение мира. Не думаю, что будет насильственным притягиванием конкретной ситуации к теоретической модели утверждение, что, иллюстрируя детские книги, многие художники видели своими читателями именно «своих», свое ближайшее окружение, точно так же находящихся в этом странном состоянии принятия и отторжения советской системы.

Обращу внимание на некоторую странность и нелогичность настроев в советской системе в художественной сфере: сюжеты и темы, недопустимые (нежелательные) в официальной станковой живописи, прекрасно существовали в иллюстрациях к книгам. А. Юрчак обращает внимание на подобную нелогичность, но на других примерах и формах деятельности [1 с. 276]. Если в живописи должен был преобладать мотив доминирования общественного над индивидуальным, пафоса и оптимизма строителя коммунизма над экзистенциальной печалью человека сомневающегося, то в книжной иллюстрации палитра тем задавалась содержанием иллюстрируемого текста и была значительно богаче и разнообразнее. Практически дерзостью в 60–70-х гг. было создание живописного полотна с унылым персонажем на фоне домашней утвари и фикуса, а не заводских труб [8 с. 141–156]. В детской же книжной и журнальной иллюстрации предметы быта были необходимы в качестве образовательного элемента, житейские коллизии были представлены в соответствии с общей атмосферой описываемых событий. Во многом поэтому в послевоенный период и позже в художники-иллюстраторы как в профессию, дающую не только стабильный заработок, но некоторую свободу от идеологического диктата, шли живописцы и графики, журнальные карикатуристы и мультипликаторы. Отдельная интересная тема – дискуссии 60-х гг. о форме книги, которые закончились победой художников-«книжников» [9]. На издательском рынке появились образцы того, как с помощью иллюстраций и общей композиции создать особый мир, свою авторскую реальность для ребенка-читателя. Художники отстаивали свое право на особый язык в иллюстраторском деле. Работы М. Митурича²³, Н. Устинова²⁴,

²³ См., например, иллюстрации М. Митурича: *Снегирев Г.* Про оленей. М.: Детская литература, 1972; *Киплинг Р.* Кошка, гуляющая сама по себе. М.: Детская литература, 1983.

²⁴ См., например: *Токмакова И.П.* Сосны шумят. М.: Детская литература, 1974. Ил. Н. Устинова.

В. Пивоварова²⁵, О. Васильева и Э. Булатова²⁶, С. Острова²⁷ и Н. Цейтлина²⁸ и многих других художников объединяют отношение к книге как целостному объекту. Графические стили различных авторов несли отпечаток полученного образования и личных художественных манифестов иллюстраторов. Эти книги не вписываются в рамку «советское» как рамку идеологическую, она им была мала. Огромное количество замечательных работ 60–80-х гг. демонстрируют определенную эстетическую концепцию и отражают принятые на тот момент художественные стандарты. Но несмотря на то что транслируемые графическим контентом высказывания не совпадают напрямую с советской идеологией, они советские. Их «советскость» связана с тем, что именно в Советском Союзе, как месте, в 60–80-е гг. сложилась определенная совокупность представлений о признаках красивой детской книги. Их «советскость» – в самой возможности создания качественной полиграфической продукции неидеологизированного содержания вне логики властного дискурса, но на средства внутренне противоречивой системы, живущей под лозунгом «Все лучшее – детям!» и требованием к образовательной системе воспитания всесторонне развитой гармоничной личности. Советские – по созданию силами иллюстрации социальной утопии надежного и защищенного мира, мира детства. Их «советскость» связана с общей атмосферой книги: доброй, спокойной и уверенной. И юные читатели легко угадывают их происхождение – для новых поколений это книги из прошлого. Их «советскость» в их цельности, ясности и предсказуемости, они выдают себя, в том числе, ощущением темпа времени. Время остановлено.

Общая темпоральность объединяет обе разбираемые группы иллюстрированных изданий. Это особенно заметно, если сравнивать продукцию, произведенную до 1985 г. и после. Ближе к концу 80-х гг. на фоне бурных социально-экономических и политических изменений появляются динамика, нервность и сложность в изображении персонажей – они становятся другими. Исследователи детской иллюстрации последнего советского десятилетия также отмечают изменение визуального ряда в детских изданиях.

²⁵ См., например: *Пивоварова И.* Тихое и звонкое. М.: Детская литература, 1967. Ил. В. Пивоварова.

²⁶ См., например: Русские народные сказки: Как курочка хлеб испекла: Книжка-картинка. М.: Малыш, 1987. Ил. О. Васильева и Э. Булатова.

²⁷ *Яковлев Ю.Я.* Девочка с Васильевского острова. М.: Малыш, 1970. Ил. С. Острова.

²⁸ *Дриз О.* Разноцветный мальчик. М.: Детская литература, 1968. Ил. Н. Цейтлина.

Заключение

В ряду других советские детские книги демонстрируют разнообразие и самой жизни, и отношения к ней. Есть вероятность, что эта манера не отомрет с уходом поколений, выросших еще в Советском Союзе, а будет востребована, и не только потому, что существует преемственность современной российской иллюстраторской школы, а силами издательств выращивается еще одно поколение, которое, как минимум, видело такую графику. Востребованность «советского» связана с вполне человеческими настройками: необходимым чувством понимания происходящего, ожиданием простых решений, боязнью личной ответственности, желанием предсказуемости своего окружения. Всегда будут лидеры и будут те, кто предпочитает идти в указанном направлении. Все это личностные установки, позволяющие сберечь ресурс, сделать свою жизнь менее тревожной и нервной.

В «советской» стилистике могут быть проиллюстрированы не только произведения, написанные тогда или повествующие о том времени. «Уютный» акварельный стиль многих современных детских книг, и не только российских, так же про мир, покой и спокойствие. В книжках новой «советскости» вместо газет, корыт, тюбетеек, коротких штанишек, курительных трубок и пионерских галстуков будут сотовые телефоны и ноутбуки, кепки и толстовки²⁹. Простота, мягкость и ясность акварельной или карандашной графики и создаваемых образов будут для многих по-прежнему необходимыми, как никуда не денется для определенных социальных групп востребованность в патернализме, в опеке, в возможности раствориться в коллективе. Следовательно, будут нравиться книжки с иллюстрациями, отражающими такие идеи. Среди шумных, резких, ярких и динамичных современных книг со сложными темами, навороченными персонажами и отсутствующими решениями, нацеленными на воспитание индивидуальности, есть своя экологическая ниша и у книг с иллюстрациями, транслирующими рецепты простой и предсказуемой жизни в коллективе в остановившемся времени. Правда, есть вероятность, что герои в них уже не будут все на одно лицо – время внесет свои коррективы.

²⁹ Такие работы можно посмотреть на сайте www.illustrator.ru. См., например, популярные у пользователей иллюстрации Екатерины Комраковой, Глеба Бодарева и Владимира Владкова.

*Приложение**Примеры издательских серий с использованием советской иллюстрации*

«Речь»

- Любимая мамина книжка
- Вот как это было
- Ребята с нашего двора
- Странички-невелички

«Нигма»

- Старые друзья

«Мелик-Пашаев»

- Тонкие шедевры для самых маленьких

«Энас-Книга»

- Новые старые книжки

«Эксмо-детство»

- Ретро-классика
- Любимые советские книжки

ИД Мецерыкова

- Мальчишки и девчонки

«Арт-Волхонка»

- Детям будущего

«Ad Marginem»

- А+А

РОСМЭН

- Та самая книжка

«АСТ.Мальш»

- Лучшая книга Мальша

«Дельфин»

- Мишуткины книжки
- Бумажный самолетик

«Арт-Волхонка»

- «Детям будущего»: Книги 20–30-х годов

Литература

1. *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение: Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 664 с.: ил.
2. *Барт Р.* Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
3. *Штомпка П.* Визуальная социология: Фотография как метод исследования: Учебник: Пер. с польск. М.: Логос, 2007. 168 с.
4. *Герчук Ю.Я.* Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. СПб.: Коло, 2014. 511 с.
5. *Герчук Ю.Я.* История графики и искусства книги. М.: Изд. дом «Рип-холдинг», 2013. 316 с.
6. О художниках-пачкунах («Правда», 1936) [Электронный ресурс] // Против формализма и натурализма в искусстве: Сборник статей. [Москва]: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1937. URL: <http://tehne.com/event/arhivsyachina/o-hudozhnikah-pachkunah-1936> (дата обращения 14.12.2018).
7. *Елисеева М.Б.* Книга в восприятии ребенка от рождения до 7 лет. М., 2008. 83 с. (Серия журнала «Логопед»)
8. *Хемби Э.* Домашняя сфера и повседневность в искусстве Татьяны Назаренко // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. С. 141–156. (Библиотека Журнала исследований социальной политики)
9. *Ескина Е.В.* Московская иллюстрация детской книги в 1960–1980-х годах: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М.: МГУ. 2013.

References

1. Yurchak A. *It was forever, until it was over. The last Soviet generation.* Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2014. 664 p. [In Russ.]
2. Barthes R. Rhetoric of image. V: Barthes R. *Selected works: Semiotics. Poetics.* Moscow: Progress Publ.; 1989. 616 p. [In Russ.]
3. Sztompka P. *Visual sociology. Photography as a research method.* Moscow: Logos Publ., 2007. 168 p. [In Russ.]
4. Gerchuk Yu. *The art of the printed book in Russia of the 16th – 21st centuries.* Sankt-Petersburg: Kolo Publ.; 2014. 511 p. [In Russ.]
5. Gerchuk Yu. *History of graphics and art books.* Moscow: Edition House “Rip-holding” Publ.; 2013. 316 p. [In Russ.]
6. About Artists-Packunies (Pravda, 1936) [Internet]. *Against formalism and naturalism in art: Collected papers.* [Moscow]: OGIZ - IZOGIZ Publ.; 1937. URL: <http://tehne.com/event/arhivsyachina/o-hudozhnikah-pachkunah-1936> (data obrashcheniya 14.12.2018) [In Russ.]
7. Eliseeva MB. *The book is in the perception of a child from birth to 7 years.* M., 2008. 83 p. (Logopedist journal series) [In Russ.]
8. Hemb E. Home Sphere and Everyday Life in the Art of Tatiana Nazarenko V: Yar-skoy-Smirnova ER., Romanova PV., eds. *Vizual'naya antropologiya: rezhimy vidi-*

- mosti pri socializme*. Moscow: Variant LLC Publ.; TsSPGI Publ.; 2009. P. 141-56. (Biblioteka Zurnala issledovanij social'noj politiki) [In Russ.]
9. Eskina EV. *Moscow Illustration of a Children's Book in the 1960s – 1980s*: Abstract of dissertation for the degree of candidate of art history. Moscow: MSU Publ.; 2013. [In Russ.]

Информация об авторе

Жанна В. Уманская, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6; zh.umanskaya@mail.ru

Information about the author

Zhanna V. Umanskaya, Cand. of Sci. (Pedagogy), associate professor, Russian State University for the Humanities. Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; zh.umanskaya@mail.ru

Перформативность и жест в социальных движениях

Наталья С. Галушина

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, galushiny@yandex.ru*

Аннотация. Культурологическое изучение социальных движений не может ограничиваться анализом их символических продуктов – идеологии, образов и иных культурных текстов. Перформативный поворот предполагает обращение к процессуальной стороне культурных явлений, в случае социальных движений имеющей выраженный телесный характер. «Видимость» социальных движений определяется присутствием тел участников в городском пространстве. Переживание телесного (со)присутствия множества людей, эмоциональная основа телесного поведения становятся важнейшим предметом социокультурного исследования. Репертуар телесных проявлений в уличных акциях варьируется от простого физического присутствия до действий карнавального типа с использованием многих знаковых средств. Стихийная активность направляется эмоциями, что выражается в телесном поведении участников, в частности – в жестах. «Естественные» эмоционально обусловленные жесты, однако, могут приобретать функцию знаков, проходя путь от иконического обозначения эмоций до символов разной степени абстрактности. Этот процесс можно проследить на примере образа воздетого кулака – одного из самых распространенных визуальных символов в социальных движениях. Таким образом, исследование жеста в контексте социальных движений нуждается в сочетании перформативного и семиотического подходов, которые продуктивно не противопоставлять, а использовать как дополнительные.

Ключевые слова: социальное движение, перформативный поворот, телесность, сопричастие, эмоция, жест, символ

Для цитирования: Галушина Н.С. Перформативность и жест в социальных движениях // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 118–131. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-118-131

Performativity and gesture in social movements

Natal'ya S. Galushina

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; galushiny@yandex.ru

Abstract: The cultural study of social movements cannot be limited to the analysis of their symbolic products – ideology, images and other cultural texts. The performative turn implies an appeal to the processual side of cultural phenomena, in the case of social movements having a pronounced physical character. The “visibility” of social movements is determined by the presence of participants’ bodies in urban space. The experience of the physical (co)presence of many people, the emotional basis of bodily behavior become the most important subject of socio-cultural research. The repertoire of bodily manifestations in street actions ranges from simple physical presence to carnival-type actions using many iconic means. Spontaneous activity is directed by emotions that is expressed in bodily behavior of participants, in particular – in gestures. “Natural” emotionally conditioned gestures, however, can acquire the function of signs, going from the iconic designation of emotions to symbols of varying degrees of abstraction. This process can be traced to the image of the raised fist – one of the most common visual symbols in social movements. Thus, the study of gesture in the context of social movements needs a combination of performative and semiotic approaches, which are not opposed, but productively used as additional ones.

Keywords: social movement, performative turn, physicality, co-presence, emotion, gesture, symbol

For citation: Galushina N.S. Performativity and gesture in social movements // *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8:118-131. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-118-131

Введение

Социальные движения – одно из наиболее значительных явлений культуры начиная с 60-х гг. XX в. Социальные движения принято рассматривать в двух основных парадигмах – в рамках теории коллективного действия и в рамках теории новых социальных движений, или теории идентичности. Если первый подход более социологичен, ориентирован на проблематику мобилизации, организации и управления ресурсами, то второй в большей степени обращается к знаково-символической реальности, смыслам и идентичностям – культурному аспекту.

Однако изучение культуры социальных движений не может сводиться к анализу его символических продуктов, но должно учитывать присущий движениям перформативный характер. И именно здесь раскрывается потенциал перформативного поворота, о котором пишет Д. Бахманн-Медик, призывая к «развитию культурной теории установления границ и их преодоления, направленной против традиционных дихотомических порядков знания и *против такого знания о культуре, которое доступно лишь через текстуализацию*» (курсив мой. – Н. Г.) [1 с. 86].

В особенности полезным, хотя и непростым, представляется пересмотр теории в духе перформативного поворота в отношении жеста. Существует традиция рассматривать систему жестов как семиотическую систему, язык. Телесные практики и использование пространственных отношений исследуются в рамках кинесики и проксемики. Однако этот подход не учитывает перформативный аспект: «здесь и сейчас» жеста, процессуальность и телесное опосредование жестовой коммуникации:

Разумеется, жест передает некое сообщение в рамках данной группы людей, и лишь в этом смысле его можно назвать «речью»; однако жест есть не столько готовое, наличное сообщение, сколько процесс его выработки (процесс, который он сам же и позволяет проследить); жест есть работа, предшествующая созданию знака (смысла) в ходе коммуникации [2 с. 116–117].

Так Ю. Кристева критикует «платоновский» философский принцип, согласно которому идея или понятие предшествуют их знаковой манифестации [2 с. 117].

Символический репертуар социальных движений довольно значителен. В первую очередь это идеологические конструкции, воплощающиеся в программных текстах движения, высказываниях его участников и лозунгах; в визуальных символах движения – от эмблематики до особенностей внешнего вида участников, включая их телесные практики. Последние представляются чрезвычайно интересным объектом исследования в контексте перформативного поворота и позволяют выстроить особую логику анализа: нас интересует не столько фиксированное бытование символов (идей, изображений), сколько способы их производства и распространения. Цель статьи – продемонстрировать, как связь эмоций, телесности и визуальности в социальных движениях работает в качестве механизма производства значений.

«Видимость» движений как присутствие тела

Социальные движения, подобно ритуалам, являются «естественным» объектом перформативной теории. Сам по себе общественный характер движений предполагает «видимость», заметность, «явленность» движения обществу. Не случайно теория социальных движений начинается с анализа массовых процессов – восстаний, революций, борьбы социальных групп за свои права. «Видимость» движений – их принципиальная черта. Причем «видимость» движений в первую очередь определяется телесным (со)присутствием значительного количества людей в общем пространстве:

Ранние марши протеста рабочего движения, например, не включали в себя центральных элементов, с которыми мы знакомы сегодня. В них не было ни баннеров, ни лозунгов, ни музыки. Рабочие шли строем, споконно и дисциплинированно. Эти марши были демонстрацией в буквальном смысле. Они представили рабочий класс в качестве нового политического актора сторонним наблюдателям и широкой общественности [3 р. xv].

Возможность выхода на улицу, физического присутствия и со-присутствия позволяет группам, в особенности оппозиционным, заявить о своем существовании как внешнему миру, так и самим себе. Так, в основном желание представить себя как политическую и социальную силу побудило людей в Москве выйти на митинги в декабре 2011 – марте 2012 г. Несмотря на наличие идеологической связи с другими движениями (например, «Стратегия-31»), данные митинги объединили чрезвычайно разные политические силы; общим для всех них было желание заявить о себе как о части электората, чьи интересы не были представлены в результате парламентских выборов. В этом отношении характерен основной лозунг митингов – «Вы нас даже *не представляете*» (курсив мой. – Н. Г.), лингвистические обыгрывающий разные значения этого слова: не знаете о нашем существовании и количестве; не представляете в парламенте. Результаты небольшого включенного исследования А. Бикбова и его группы показали, что стремление «представить» себя преобладало среди вышедших на улицы над собственно идеологическими установками:

Решающее присутствие «других»: «людей» («народа»), которые должны «почувствовать» и «проснуться», и «власти», которая должна «услышать» и даже «испугаться», – в индивидуальных ожиданиях от конкретного митинга достаточно ясно характеризовало проблематичность его проектного измерения для самих участников [4 с. 134].

Характерен вывод исследователя: «Смысл собственного присутствия на митинге определялся не до выхода на улицу, а в его процессе» [4 с. 138]. На эти же особенности гражданской активности в России 2010-х обращают внимание и авторы коллективной монографии «Политика аполитичных» [5]. Они подчеркивают в качестве основного результата этого периода активности появление коллективной идентичности, невозможной до физического «явления» в рамках митинга. Аполитичность – то, что, несмотря на парадоксальность данного утверждения, сделало возможным выход на улицу самых разных людей:

В ней (аполитичности. – *Н. Г.*) – его слабость, то, что привело движение к ряду противоречий и кризисов и в конце концов свело его на нет, но в ней же – и его сила, то, что позволило массе людей почувствовать себя частью – пусть и временной – общности [5 с. 14].

То, что физическое присутствие групп людей на улицах города, во-первых, имеет смысл в самом себе и, во-вторых, способно производить смыслы (иногда «произвольные»), можно увидеть на примере такой (ежегодной) акции, как «монстрация». Намеренно абсурдистская и декларативно аполитичная, она тем не менее вызывает как минимум настороженное отношение властей, а в отдельных случаях ее проведение приводит к задержаниям участников, штрафам и ограничениям. Можно сказать, что смыслы порождаются, с одной стороны, самим фактом физического присутствия людей в форме массового шествия с плакатами, а с другой – теми фреймами (от художественных до политических), внутри которых осуществляется интерпретация события. «Монстрация» одними организаторами может пониматься как «форма безобидного самовыражения молодежи, а также инструмент, благодаря которому, можно лучше понимать, как меняется ее поведение с течением времени»¹, в то время как другие утверждают, что «Монстрация является отчетливым протестом против отсутствия публичной политики в стране, она не просто маркирует границы гражданских свобод, но и раздвигает эти границы, становясь школой солидарности, творческой активности и гражданской свободы»².

В условиях неразвитости сектора социальных движений и последовательных законодательных ограничений в организации публичных собраний само по себе физическое присутствие в про-

¹ Мирослав Береза, организатор «монстрации» в Калининграде [6].

² Сергей Самойленко, координатор Сибирского центра современного искусства [6].

странстве города остается мощным средством идеологического высказывания. Физическое присутствие может выражаться в виде «прогулок»³ или одиночных пикетов – создается символическое замещение действиями одного человека или небольшой группы масштабной активностью больших групп граждан.

В противовес этой ситуации там, где ограничения уличного активизма не столь строги, репертуар телесного (само)выражения существенно шире и может опираться на разнообразие лозунгов, плакатов, визуальной символики движения, вплоть до театрализации или карнавализации шествия, как на гей-парадах или в акциях Slut Walk («парад шлюх»). В последнем случае используется не только физическое присутствие тела. Тело становится дисплеем, посредством которого с помощью одежды, макияжа, прически, походки и жестикуляции, маркированных как «непристойные», участницы и участники демонстрируют свою общественную позицию, которую можно разложить на ряд аспектов. Осуждение насилия и оправдания насилия – основная идея акций по всему миру: первый «парад шлюх» связан с реакцией на высказывание торонтского констебля Майкла Сангинетти, который сказал, что если женщины не хотят, чтобы их насильовали, им «не следует одеваться подобно шлюхам». В связи с этим – сопротивление стигматизации на основе внешнего вида и борьба со стереотипами; на более глубоком уровне речь идет о свободе телесной манифестации и сопротивлении существующей социально-культурной иерархии в отношении внешности, а также «праве на собственное тело». В саморепрезентации движения в символикe (плакаты и пр.) это сопротивление выражается в солидарности с другими группами, воспринимаемыми как угнетенные (гендерные и расовые).

В последние десятилетия Интернет стал важнейшей площадкой формирования движений, так что часть из них (особенно в России) остаются чисто «виртуальными». Однако Мануэль Кастельс, характеризуя Интернет как «пространство автономии» и развивая мысль о возможностях социальных медиа для распространения идей и для самоорганизации социальных движений, подчеркивает, что наряду с Интернетом движению необходим город, его улицы и площади: движение нуждается в обоих видах пространства для успешного функционирования [8 p. 222].

Таким образом, чтобы быть эффективным, движение должно быть «видимым», в первую очередь в «материальном» выражении. Поэтому физическое присутствие в городском пространстве само

³ О репертуаре различных форм присутствия в городском пространстве после мая 2012 г. см. [7].

по себе или в сочетании с другими телесными манифестациями (внешний вид, поведение) и визуальными и вербальными символами (плакаты и транспаранты, различные предметы) приобретает самостоятельный смысл.

В целом к массовым уличным акциям в рамках социальных движений применимы основные тезисы теории ритуала К. Вульфа:

Поскольку ритуалы являются инсценированием и исполнением тела, то они чаще всего имеют больший социальный вес, нежели чистая дискурсивность. Действующие ритуально люди своей телесностью вносят в социальную ситуацию «больше», чем просто речевая коммуникация. Это «больше» заложено в материальности тела и в экзистенции человека, основанной на его телесности, его сиюминутном телесном присутствии и уязвимости. В ритуалах благодаря инсценированию и представлению перерабатываются различия и создается общность. Происходит это не только коммуникативно-речевым, но и телесно-материальным образом [9 с. 25].

Следует отметить существенную методологическую трудность в описании телесных реакций внутри социальных процессов: поскольку речь идет не о завершенной ситуации, а о процессе, требуется «вживание» и «переживание», которые с трудом конвертируются в академический дискурс. Язык описания перформативности в социальных движениях до конца не сформирован, однако активно разрабатывается в исследованиях эмоциональных аспектов и телесности в социальных движениях. Так, Эрика Саммерс Эффлер (университет Нотр-Дам) стремится восполнить недостаток описаний «эмоции в действии»:

Когда мы выстраиваем наши тела в линию, мы не стоим *за* что-то; мы стоим *как* что-то. Очевидно, что именно сила эмоций, а не рациональный расчет или высокая идеологическая приверженность, порождает осязаемое ощущение, что вы не только *часть* чего-то большего, но и *само* это большее. Это разрастание личности за пределы непосредственных физических границ тела способно заставить людей подвергнуть себя опасности, чтобы защитить эту более важную вещь, которую они буквально стали воплощать [10].

Потенциал телесного присутствия связан, по мнению автора, с эффектами «толчеи» (“milling” – термин Г. Блумера в переводе Д. Водотынского [11]) – постоянного взаимодействия между членами толпы, приводящего к эмоциональному заражению, возможно, благодаря действию зеркальных нейронов.

Жест: от эмоции к символу

В упомянутой статье Эффлер не просто констатирует значение и эмоциональную силу физического соприсутствия. Автор говорит о физиологических реакциях как о «воплощенных удовольствиях» протеста (“embodied pleasures of protest”):

Тела потеют, дрожат, натираются, обезвоживаются, теряют голос от криков и проходят, казалось бы, бесконечные мили до и от места протестов, когда общественный транспорт перегружен более успешной публикой. Тела интуитивно реагируют на цепи полицейских в снаряжении. Тела невольно колеблются в ритме мощной речи, пения или песни. Тело чувствует прилив адреналина, когда лучший оратор достигает пика возбуждения. Тела регистрируют солидарность, когда они идут, часто в ногу, с массой незнакомцев, простирающейся так далеко, как может видеть глаз. Все это означает, что тела чувствуют. Они регистрируют чувства и являются источником эмоций. Эмоции – это воплощенные удовольствия протеста [10].

К спонтанным телесным реакциям, опосредованным «рефлекторными» эмоциями (reflex emotions) [12] – страхом, гневом, радостью, удивлением, отвращением и т. п., – можно отнести и жестикуляцию. Некоторые эмоциональные константы (например, возмущение) проявляются в типичных жестах и выражениях лица. Например, вскинутая рука, особенно со сжатым кулаком, демонстрирует, с одной стороны, гнев, возмущение или даже ярость, а с другой – решимость, энергию и мощь. Независимо от идеологии и имеющейся жестовой символики движения, участники вздымают кулак в знак протеста, борьбы. В литературе известен оборот «потрясать кулаком/кулаками», являющийся номинацией соответствующего жеста. Такое использование жеста, которое можно назвать спонтанным, ситуационным или даже автоматическим, является одним из телесных проявлений коллективного поведения и представляет собой стихийную реакцию на некоторый стимул – несправедливость, «поломку», «неправильность» в обществе. Коллективное поведение практически не организовано и слабо институционально оформлено, поэтому может не иметь лозунгов, символики и конкретной цели, но всегда базируется на *эмоции* – в частности недовольства, гнева или возмущения. Именно поэтому вскинутый кулак появляется на эмблемах большого количества самых разных движений, основанных на названных эмоциях (рабочее движение, феминизм, радикальные экологические движения, расовые движения и др.).

Жесты, как в своем «стихийном» эмоционально обусловленном применении, так и в символическом бытовании, вносят существенный вклад в формирование идентичности социальных движений и их участников [13 с. 146–147]. Жесты являются одним из важнейших телесных проявлений и, как уже упоминалось, признанным «языком». Таким образом, как объект исследования они находятся на грани между изучением жестовой семантики и символики и перформативным подходом. Представляется продуктивным, однако, не противопоставлять эти два способа теоретизировать «жест», а совместить их, приняв «стихийно-эмоциональное» и «знаково-символическое» за два полюса, между которыми разворачивается реальное бытование жеста в практиках социальных движений.

Если воздетый кулак как «естественный» жест, отражающий эмоцию возмущения и гнева, универсален, а «схватить» и зафиксировать его в этом качестве возможно лишь в контексте включенного наблюдения (соприсутствия и соучастия), то его осмысление и символическое применение в визуальных материалах движений относятся уже к области семиотики. Фиксации жеста – даже его непосредственного осуществления в толпе (в фотографиях и видео в СМИ, например) – уже являются репрезентациями и могут быть осмыслены через оптику семиотики или герменевтики. Мы имеем дело с текстуализацией телесности, которая, однако, является существенной частью как культурного бытования жеста, так и его роли в социальных движениях. Зафиксированные на фотографиях журналистов или участников сцены массовых акций с воздетыми вверх кулаками необходимо рассматривать внутри того контекста и той коммуникативной ситуации, в которую они включены. Так, сходные изображения массы людей, потрясающих кулаками, могут быть представлены как образ воодушевления или совсем иначе – как образ оголтелой или «озверевшей» толпы. Тот же образ, как правило несколько абстрагированный, часто украшает обложки академических публикаций, посвященных социальным движениям. Так образ поднятой руки со сжатым кулаком через ассоциацию с возмущением и недовольством, но одновременно и решительностью, становится иконическим изображением социального возмущения как такового.

Как пишет Г.Е. Крейдлин,

на протяжении истории многие жесты проходят путь от иконических знаков до символических, от выражения конкретных «простых» значений с помощью иконических форм к выражению самых абстрактных идей [14 с. 49].

Поднятый кулак также проходит этот путь. Рассматриваемый нами жест входит в состав риторической практики и описан уже в XVIII в.:

Когда ты говоришь о жестокой вещи или гневно, сожми кулак и потряси рукой. Когда ты говоришь о вещах небесных или божественных, возведи очи и укажи пальцем на небо... Когда ты говоришь о святой вещи или набожно, воздешь руки (М. Баксанделл, цит. по [15]).

Соответственно этот жест типологизирован Крейдлиным как риторический иллюстративный:

Эмблематический жест кулака Дантона (*вытянутая вперед рука, пальцы сжаты в кулаке*) тоже имел риторическое употребление: искусный оратор, подавляя речь, плотно сжимал губы и, выкатив глаза, устремлял кулак в сторону аудитории. Этот жест является очевидной невербальной метафорой, выражающей установку на отталкивание и одновременно на вторжение, проникновение в аудиторию, а также то, что все эти действия происходят в актуальном настоящем времени [14 с. 78].

В контексте институционально оформленных социальных движений воздетый кулак как символ появляется внутри рабочего, точнее интернационального, коммунистического движения – на плакатах Интернационала или в качестве эмблемы Рот Фронта (Союз красных фронтовиков). Движения такого рода А. Турен называет «борьбой», которая отличается, если следовать его мысли, четко оформленным классовым самосознанием: общество понимается как поле битвы или как рынок, где конкурирующие группы борются между собой. Действительно, задача этих движений – получить представительство, в том числе политическое, соответствующих социальных групп. Группы отстаивают собственные интересы – но *внутри* уже имеющегося социокультурного порядка [16 с. 82–96].

60–70-е годы XX в. представляют собой сложный период перехода от социальных движений как борьбы к так называемым новым социальным движениям. Эти последние отличает то, что они выдвигают требования культурного порядка, претендуя не просто на завоевание «места под солнцем», но на пересмотр существующих социальных и культурных установлений. Тем не менее и борьбе как таковой, и ее символам находится примене-

ние в дискурсе и практиках движений. При этом кулак как символ перестает ассоциироваться исключительно с рабочим и/или коммунистическим движением и становится эмблемой не только классовой, но и любой борьбы и любого протеста, направленного *против* господствующего социокультурного порядка (расового, гендерного, колониального и т. п.). Не следует пренебрегать логической связью протестов этого периода с идеологией «новых левых», отражающей недовольство результатами «борьбы», которая привела не к пересмотру социального и политического устройства, а к встраиванию в него. И движения, и расцветшие внутри них субкультуры этого периода выражают идею «символического сопротивления», которое можно трактовать и как «жест» в метафорическом смысле. В этом контексте, уже не являясь выражением коммунистической идеи, кулак сохраняет значения «левизны» и «борьбы», соединенные вместе.

Начиная с 1960-х гг. количество движений неуклонно возрастает, а их направленность расширяется. Можно сказать, что сама социальная жизнь во многом является результирующей противоборства разнообразных движений. Также участие в движениях не определяется более исключительно парадигмой господства/подчинения и соответственно отрывается от классового сознания и жесткой групповой идентичности. Картина движений в XXI в. гораздо более сложная и противоречивая, а индивид выстраивает свою социальную идентичность, осуществляя выбор в рамках множественных «проектов будущего», предлагаемых движениями и отвечающих интересам и чаяниям индивида. Тем не менее метафора борьбы не теряет своей значимости, эмблема поднятого кулака становится еще более востребованной, окончательно порывая со своим происхождением. Можно сказать, что «кулак» вступает в эру симуляции в бодрыйяровском смысле. Отношения между означаемыми становятся самостоятельной реальностью: например, популярность «кулака» является поводом для интернет-блогеров, продвигающих конспирологический дискурс, видеть за «цветными революциями» единую организацию (демотиватор «Госдеп экономит на дизайне логотипов»). Изображение кулака может использоваться игровым или ироничным способом: например, в логотипе движения «Еда вместо бомб» (“Food Not Bombs”) в вздетом кулаке зажата морковь, а в эмблеме российского Мужского движения изображение кулака входит в сложный состав элементов (кулак, в котором зажата змея, интерпретируется как мужская рука, удушающая феминизм).

Заключение

Подводя итог, можно сделать некоторые обобщения. В основе любого социального движения лежит эмоция или даже комплекс эмоций, которые получают непосредственное телесное воплощение в перформативных практиках этого движения. Обретая видимость в уличных акциях, телесные практики превращаются в знаки – а иногда и в символы, – которые становятся выражением движения, его духа и содержания. Таким образом, можно выделить две принципиально разные линии исследования социальных движений. Во-первых, исследование движения «изнутри», методами антропологии и качественной социологии, с целью выявления неотрефлексированных и часто не зафиксированных элементов практики. Во-вторых, исследование символического аспекта на основе анализа порождаемых участниками движений текстов. Синтез этих двух аспектов возможен, если видеть в деятельности социальных движений, в особенности в проводимых ими акциях, социальные ритуалы, в которых символическая нагруженность соединяется с физическим соприсутствием, в котором символы «оживают», живут и интерпретируются участниками акции.

Литература

1. *Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты: Новые ориентиры в науках о культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
2. *Кристева Ю.* Жест: практика или коммуникация? // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики: Пер. с фр. М.: РОССПЭН, 2004. С. 114–135.
3. *Doerr N., Mattoni A., Teune S.* Toward a visual analysis of social movements, conflict, and political mobilization // *Advances in visual analysis of social movements (Research in social movements, conflicts and change. Vol. 35)*. Emerald Group Publishing Limited, 2013. P. xi–xxvi.
4. *Бикбов А.* Методология исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, декабрь 2011 – июнь 2012) // *Laboratorium*, 2012. № 2. С. 130–163.
5. Политика аполитичных: Гражданские движения в России 2011–2013 гг. / М.Л. Алюков, С.В. Ерпылева, А.А. Желнина, О.М. Журавлев и др.; ред. С.В. Ерпылева, А.В. Магун. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 480 с.
6. *Кривошеев В.* Монстрация: современное искусство или форма протеста? [Электронный ресурс] // *Young space*. URL: <https://youngspace.ru/aktionsizm/monstratsiya/> (дата обращения 30.07.2019).
7. *Зайцев Д., Коростелев В.* Протестное движение в России 2011–2012 годов: проблема субъектности // *Государство и общество в пространстве власти и политических коммуникаций* / Под ред. А. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2013. С. 231–266.

8. *Castells M. Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age.* Cambridge: Polity Press, 2012. 328 p.
9. *Вульф К.* Производство социального: ритуал, эмоции, воспоминания // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. 13. № 3. С. 23–50.
10. *Summers-Effler E.* Bringing the body [back] in: Where the Action Really is? [Электронный ресурс] // Mobilizing Ideas. URL: <https://mobilizingideas.wordpress.com/2012/12/20/bringing-the-body-back-in-where-the-action-really-is/> (дата обращения 30.07.2019).
11. *Блумер Г.* Коллективное поведение // Американская социологическая мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 168–215.
12. *Jasper J.M.* Emotions and social movements: twenty years of theory and research. *annual review of sociology.* 2011. Vol. 37. P. 285–303.
13. *Галушина Н.С.* Механизмы формирования идентичности в социальных движениях: на материале русскоязычного Интернета // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. № 8 (41). С. 134–154.
14. *Крейдлини Г.Е.* Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 592 с.
15. *Ямпольский М.В.* Жест палача, оратора, актера // Ad marginem'93: Ежегодник лаборатории постклассических исследований Института философии РАН. М.: Ad marginem. 1994. С. 21–67.
16. *Турен А.* Возвращение человека действующего: Очерк социологии. М.: Научный мир, 1998. 204 с.

References

1. Bachmann-Medick D. *Cultural turns. New orientations in the study of culture.* Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2017. 504 p. [In Russ.]
2. Kristeva Yu. Gesture: practice or communication? V: Kristeva Yu. *Selected Works: The Destruction of Poetics.* Moscow: ROSSPEN Publ.: 2004. P. 114-35. [In Russ.]
3. Doerr N., Mattoni A., Teune S. Howard a visual analysis of social movements, conflict, and political mobilization. V: *Advances in visual analysis of social movements* (Research in social movements, conflicts and change. Vol. 35). Emerald Group Publishing Limited, 2013. P. xi–xxvi.
4. Bikbov A. Methodology of research of “sudden” street activism (Russian rallies and street camps, December 2011 – June 2012). V: *Laboratorium.* 2012;2:130-63. [In Russ.]
5. Alyukov ML., Erpyleva SV., Zhelnina AA., Zhuravlev OM. etc. *Apolitical politics: social movements in Russia in 2011–2013.* Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ; 2014. 480 p. [In Russ.]
6. Krivosheev V. Monstration: contemporary art or a form of protest? [Internet]. *Young space.* URL: <https://youngspace.ru/aktsionizm/monstratsiya/> (data obrashcheniya 30.07.2019) [In Russ.]
7. Zaitsev D., Korostelev V. Protest movement in Russia 2011-2012: the problem of subjectivity. V: Solov'ev A., ed. *Gosudarstvo i obshchestvo v prostranstve vlasti i politicheskikh kommunikacij.* Moscow: ROSSPEN Publ.; 2013. P. 231-66. [In Russ.]
8. *Castells M. Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age.* Cambridge: Polity Press, 2012. 328 p.

9. Wulf C. The Production of the social: ritual, emotions, memories. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii*. 2010;3:23-50. [In Russ.]
10. Summers-Effler E. Bringing the Body [Back] in: Where the Action Really is? [Internet]. *Mobilizing ideas*. URL: <https://mobilizingideas.wordpress.com/2012/12/20/bringing-the-body-back-in-where-the-action-really-is/> (data obrashcheniya 30.07.2019).
11. Blumer H. Collective behavior. V: *Amerikanskaya sociologicheskaya mysl'*. M.: Izdatel'stvo MGU Publ. 1994. P. 168-215. [In Russ.]
12. Jasper JM. Emotions and social movements: twenty years of theory and research. *Annual Review of Sociology*. 2011;37:285-303.
13. Galushina NS. Mechanisms of identity formation in social movements: on the material of the Russian-language Internet. V: *RSUH / RGGU Bulletin. "History. Philology. Cultural Studies. Oriental Studies" Series*. 2018;8:134-54. [In Russ.]
14. Kreidlin GE. Non-verbal semiotics. Body language and natural language. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ; 2002. 592 p. [In Russ.]
15. Yampolsky MV. Gesture of executioner, speaker, actor. V: *Ad marginem'93: Ezhegodnik laboratorii postklassicheskikh issledovaniy Instituta filosofii RAN*. Moscow: Ad marginem Publ.; 1994. P. 21-67. [In Russ.]
16. Touraine A. Return of the actor: social theory in postindustrial society. Moscow: Nauchnyj mir Publ.; 1998. 204 p. [In Russ.]

Информация об авторе:

Наталья С. Галушина, кандидат культурологии, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6; galushiny@yandex.ru

Information about the author:

Natal'ya S. Galushina, Cand. of Sci. (Cultural Studies), Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; galushiny@yandex.ru

Атлас как визуальный образ культурной памяти: концепция Ж. Диди-Юбермана

Ирина Н. Захарченко

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, inzakh@gmail.com*

Аннотация. Французский философ и историк, работающий в проблемном поле визуальных исследований (*Visual Studies*), Ж. Диди-Юберман (р. 1953) принадлежит к числу наиболее известных современных теоретиков образа. В ряде своих работ, посвященных природе визуального образа и особенностям его восприятия, он обратился к наследию А. Варбурга (1866–1929), проблематизируя, в числе прочего, атлас «Мнемозина» как пространство формирования культурной памяти. В 2010–2014 гг. Ж. Диди-Юберман выступил куратором серии выставок, посвященных современным контекстам варбурговского атласа. В статье исследуется – на основе текстов и выставочных проектов – теория образа Ж. Диди-Юбермана сквозь призму идеи атласа как особого дискурсивного пространства, хранящего культурную память.

Ключевые слова: визуальные исследования, Ж. Диди-Юберман, А. Варбург, атлас «Мнемозина», культурная память

Для цитирования: Захарченко И.Н. Атлас как визуальный образ культурной памяти: концепция Ж. Диди-Юбермана // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 132–148. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-132-148

Atlas as a visual image of cultural memory: the concept of G. Didi-Huberman

Irina N. Zakharchenko

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, inzakh@gmail.com

Abstract. The French philosopher and historian G. Didi-Huberman (b. 1953) is one of the most famous modern image theorists working in the field of visual studies. His works are devoted to the nature of the visual image and the features of its perception. He turns to the legacy of Abi Warburg (1866–1929), problematizing, among other things, the Atlas of “Mnemosyne” as a space for the formation of cultural memory. During years 2010–2014 G. Didi-Huberman curated a series of exhibitions on the contemporary contexts of the

Warburg Atlas. The article explores, based on texts and exhibition projects, the G. Didi-Huberman theory of the image through the prism of the idea of the atlas as a special discursive space that preserves cultural memory.

Keywords: visual studies, G. Didi-Huberman, A. Warburg, Mnemosyne Atlas, cultural memory

For citation: Zakharchenko IN. Atlas as a visual image of cultural memory: concept of G. Didi-Huberman. *RSUH / RGGU Bulletin. "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies" Series*. 2019;8:132-148. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-132-148

Одной из наиболее дискуссионных проблем современных визуальных исследований (*Visual Studies*) является вопрос об образе как способе познания мира. Существует ли собственная «логика образов»? Как происходит «высвобождение воображаемого из образной материальности»? Способен ли «потенциал образной логики» сменить лингвистический поворот? [1 с. 419]. Эти и другие вопросы вызывают в кругу специалистов повышенный интерес. Среди ярких представителей визуальных исследований, чьи работы по проблемам образа вот уже несколько десятилетий привлекают к себе внимание, – французский философ, теоретик визуального, историк искусства Ж. Диди-Юберман (р. 1953). Придерживаясь феноменологической трактовки образа, он настаивает на его самостоятельной роли в познании художественных процессов и культурных значений. Он проявляет интерес к образному мышлению как к возможности исследования более широкого круга исторических явлений. Одним из безусловных авторитетов для Ж. Диди-Юбермана является Аби Варбург (1866–1929), создатель теории переселения образов, транслирующих культурную память через «формулы пафоса» (*Pathosformeln*).

Ж. Диди-Юберман является одним из оригинальных интерпретаторов научного наследия знаменитого немецкого искусствоведа. Среди прочего, его внимание неоднократно привлекал итоговый проект А. Варбурга – атлас «Мнемозина» (1925–1929). Ж. Диди-Юберман воспринял атлас не только как иллюстрацию идей Варбурга, но как действующий алгоритм нового способа познания «жизни» визуальных образов, как пространство формирования новых концептуальных связей. На этой основе французский ученый обратился к проблематизации атласа как уникального визуального архива, с одной стороны, хранящего изображения, с другой – трансформировавшегося в самостоятельный образ культурной памяти.

Интерес к интерпретации Ж. Диди-Юберманом атласа связан с опытами визуальной репрезентации концепции в рамках серии

выставок. В 2010–2014 гг. он выступил куратором проектов, в которых, отталкиваясь от заложенных в атласе «Мнемозина» потенциальных значений, предпринял попытку выявить современные контексты, раскрывающие образ как носитель культурной памяти. Выставочное пространство открыло возможности актуализировать идеи А. Варбурга в эпоху интенсивных информационных потоков и цифровой воспроизводимости образов. Атлас из объекта интеллектуальной рефлексии превратился в визуальный образ, являющий прошлое в настоящем.

Статья посвящена исследованию концепции атласа как носителя культурной памяти и оценке упомянутых выставочных проектов. Для понимания атласа как особого дискурсивного пространства, хранящего культурную память, важно, во-первых, представить теорию образа Ж. Диди-Юбермана, во-вторых, проанализировать его интерпретацию наследия А. Варбурга, в-третьих, показать значение его обращения к выставке как к особому пространству, обладающему статус и функции образа в современной культуре. Изучение атласа как визуальной формы получения знания в различных исторических контекстах позволяет прояснить ряд актуальных проблем современных визуальных исследований.

История искусства как пространство образов: формирование дискурса

Визуальный образ, трактованный в рамках феноменологической теории познания, – ключевой концепт теоретических построений Ж. Диди-Юбермана. Уже в своих первых работах он высказывает критическое отношение к традиционному искусствознанию, обращая внимание на проблему восприятия. Так, в ранней статье, посвященной новелле О. Бальзака «Неведомый шедевр», он пишет о невозможности визуальной репрезентации идеального образа в живописи [2]. В эти же годы, изучая психоанализ, Ж. Диди-Юберман обращает внимание на проблему истерии и возможность визуализации бессознательного в пространстве между травмой и ее видимыми симптомами, о чем сначала писал М. Шарко, а затем З. Фрейд [3]. Образ в его теории превращается в носителя, хранящего память коллективного бессознательного, основанного на диалектике видимого, открывающегося познанию, и невидимого, непостижимого, невыразимого.

Первым крупным опытом представления собственной концепции становится монография «Перед образом. Вопрос к целям одной истории искусства» (1990). Критически оценивая традиционную

историю искусства, Ж. Диди-Юберман заявляет, что художественный артефакт – это в первую очередь воспринимаемый зрителем образ. Взгляд на образ, пишет он, всегда вызывает беспокойство: мы не можем не чувствовать невидимое в видимом, не ощущать, что он что-то скрывает. История искусства превращается в наполненные образами дискурсивное пространство, требующее новых подходов к осмыслению [4 р. 9–10].

Свое понимание истории искусства Ж. Диди-Юберман определяет как «эстетику симптома» [4 р. 310], заимствуя понятие из психоанализа З. Фрейда. Он переносит фрейдовский концепт на изучение визуального: симптом – это проявление скрытого, неявного в образе через визуальное событие, в котором, подобно бартовскому *Punctum*'у, разорвана связь между означающим и означаемым [4 р. 307–308]. Симптом в его интерпретации превращается в черный ящик, скрывающий связь между визуальным импульсом и его восприятием, в разрыв (*dechirure*). Последний следует трактовать как акт, предполагающий противоречия и напряжения, он всегда есть результат экспрессии, заложенной в наполненный противоречиями опыт культурного процесса.

Как «работает» образ-симптом в дискурсе Ж. Диди-Юбермана? Исследователь демонстрирует свою концепцию на примере анализа фрески «Благовещение» в монастыре Сан-Марко флорентийского мастера XV в. Беато Анджелико. Он пишет о том, что наряду с видимым – изображенными фигурами Марии и Архангела – существует визуальное, то, что обнаруживает более сложные значения. Рассматривая фреску, «мы прочитываем в ней историю... Повествовательный эпизод становится зримым. Фигуры, сначала увиденные нами в неподвижности, словно бы наделяются способностью движения или попадают в разворачивающееся время»¹ [5 с. 80].

После фигур Ж. Диди-Юберман обращает внимание на белый фон анализируемого произведения. Белизна для него – это «и поток световых частиц, и порошок частиц извести». Она не объект изображения, а событие, ибо «располагается на скрещении пучка всевозможных смыслов»; она виртуальна, ибо вбирает «взгляд субъекта, его историю, его фантазмы, его внутренние разграничения». Именно ее, белизну фрески «Благовещение», Ж. Диди-Юберман называет симптомом – «внезапно обнаруживающимся узлом встречи ветвящихся ассоциаций или конфликтующих смыслов» [5 с. 83–84].

¹ В журнале «Искусство» № 3 (598) за 2016 г. опубликован перевод отрывка из монографии Ж. Диди-Юбермана «Перед образом». Последующие цитаты приводятся по этому изданию.

Здесь открывается более сложная связь между симптомом и разрывом. Симптом может быть определен как «невидимый топос» визуального образа, в котором являет себя работа «отверстия» – и, следовательно, взлома, симптоматизации – в порядке читаемого и за ним» [5 с. 86]. Симптом, таким образом, фиксирует пространственный разрыв образа. Симптом, далее, свидетельствует о временном разрыве, характеризующем «жизнь» образа в новом дискурсивном поле: образ-симптом обладает потенциальностью «бесконечного развертывания», время образа и время его восприятия не совпадают, темпоральные связи в этом случае не очевидны и не линейны. История искусства отныне допускает «целые созвездия смыслов, преподносящиеся нам как сети, с невозможностью познать которые... мы должны смириться» [5 с. 84].

Если образы хранят невидимое глазу, то как их можно воспринять? Отвечая на этот вопрос, Ж. Диди-Юберман заявляет о решающей роли воображения. Продолжая рассуждать о «Благовещении», он пишет: нам нужно решиться «вообразить», опираясь лишь на скудное историческое знание, что доминиканец XV века по имени Фра Анджелико умел не только сковать цепь знания, но и разорвать ее, перепутать все звенья между собой, изменяя направление значения и побуждая знаки значить по-другому». Вообразить – это проникнуть за пределы видимого, постичь феноменологические *складки (le pan)*, «индикаторы разрыва», как реальный (в отличие от видимой детали) объект живописи. Вообразить – это еще и открыть невидимое в себе, обнаружить человеческое измерение образа, выявить антропологический смысл искусства. Наконец, вообразить – это разрешить образу «себя захватить», дать визуальной оболочке приблизиться вплотную к телу смотрящего, телесно вовлечь зрителя в акт восприятия [5 с. 82–83].

В итоге история искусства замещается историей образов, непрерывно перемещающихся, разрывающих ткань пространства и исторического времени, связанных невоспринимаемыми визуальными значениями. Это история объектов, находящихся в настоящем, но несущих следы прошлого. Они существуют по аналогии с фрейдскими симптомами, являют скрытое через складки, предполагают цепочку интерпретаций и реинтерпретаций. Неотъемлемая часть теории Ж. Диди-Юбермана – восприятие образов через воображение. Оно предполагает чувственную, телесную, ментальную вовлеченность человека в их познание и постижение. Возникающая аффективная реакция фиксирует транслируемые смыслы, закрепляет их в памяти.

*От истории искусства к науке о культуре:
наследие А. Варбурга в оценке Ж. Диди-Юбермана*

Обращение к А. Варбургу – важный этап в научной деятельности Ж. Диди-Юбермана. Он стремится оторвать наследие немецкого искусствоведа от иконологической традиции, увидеть в нем предтечу феноменологической трактовки образа. Работая над монографией «Выживший образ: История искусства и время призраков по Аби Варбургу», Ж. Диди-Юберман не только обосновывает свое видение его концепции, но уточняет и углубляет ряд положений собственной теории. Он убежден, что идея переселения образов – это основа понимания культурных процессов: А. Варбург, пишет он, дает нам возможность двигаться «от истории искусства к науке о культуре» [6 р. 25].

Центральной частью наследия А. Варбурга для Ж. Диди-Юбермана является концепция выжившего образа, имеющего три ипостаси. Выживший образ – это «образ-фантом», перемещающийся во времени. Как призрак, пишет Ж. Диди-Юберман, он появляется, исчезает, вновь возрождается. Его время анахронично, разделено на «жизнь» артефакта и «жизнь» образа. Образ «смотрит на нас» через трансисторические и транскультурные связи, которые сам же и формирует. Образ, далее, есть «результат движений», в нем «осевших и кристаллизовавшихся», имеет собственную – историческую, антропологическую и психологическую – траекторию. Он носитель энергии, внутренней силы, и это формирует его особую структуру [6 р. 19].

Для Ж. Диди-Юбермана важно, что «образ-фантом» хранит память (*Nachleben*) культуры. Речь идет не о событиях, но о зафиксированных в психическом пространстве импульсах, конденсирующих аффективный, экспрессивный опыт. Выживший образ всегда включает в себе внутреннюю силу, не случайно культурная память являет себя в варбурговских формулах пафоса (*Pathosformeln*). Последние – это динамограмма (*Dynamogramme*) формирующих образ пластических сил, внутреннего конфликта между дионисийским и аполлоническим, высвобождающейся энергии, рождающей художественную форму [6 р. 71–72]. Таким образом, «образ-фантом» дополняется характеристиками «образа-пафоса», выполняющего в культуре мнемические функции.

Культурная память, по Ж. Диди-Юберману, обладает важной особенностью. Фиксируя не смыслы, а определенные конфигурации скрытых энергий культуры, она трансформирует эти конфигурации, делает их пластичными и подвижными. Это означает, что постоянно перемещающийся «образ-пафос» всегда будет пере-

живать метаморфозы, являть себя по-иному в разных эпохах и в разных контекстах, выходить на новые уровни актуализации прошлого. Память становится многослойной, включающей постоянно меняющиеся контексты. Существование различных временных пластов будет рождать внутренние напряжения, столкновения, противоречия. История хранящих память образов всегда будет историей их выживания.

Наконец, третья ипостась варбурговского образа – это *«образ-симптом»*. «Образ-симптом», пишет Ж. Диди-Юберман, подлежит анализу с позиций исторической психологии. Он всегда экспрессивен, визуализирует неочевидные временные связи, подчиняется психологическим движениям культурного бессознательного. Образ-симптом, свидетельствующий о постоянном возвращении подавленных желаний, объясняет заложенную в культуре потенцию к ее вечному движению [6 р. 177–180].

Как изучать историю образов? Методология классического искусствознания теряет свое значение. Ж. Диди-Юберман обращает внимание на мысль А. Варбурга об историках-сейсмографах, фиксирующих скрытые перемещения образов, тонко чувствующих и «регистрирующих» невидимые симптомы. Они, как и сам А. Варбург, наделены даром чувствовать «патологию времени» и открывать ее остальным [6 р. 72].

В таком понимании история образов Ж. Диди-Юбермана выходит за рамки традиционной истории искусства. Она обращается к более широкому кругу исторических закономерностей, превращается в науку о культуре. Идея выжившего образа предполагает иные режимы формирования и фиксирования культурной памяти. Ж. Диди-Юберман обращается к варбурговскому атласу «Мнемозина» как возможной модели постижения интересующих его закономерностей.

Атлас «Мнемозина»: «способ мыслить образами»

Интерес Ж. Диди-Юбермана к атласу «Мнемозина» связан не только с желанием понять сложную и неочевидную «жизнь» образов. Для него проект А. Варбурга – это «способ мыслить образами» [6 р. 296], уникальный и универсальный метод мышления, ключ к исследованию фундаментальных проблем западной культуры.

Атлас «Мнемозина» – несколько десятков обтянутых черной тканью панелей с закрепленными на них репродукциями разнородных художественных памятников – был опытом визуализации идеи

переселения образов, который предпринял А. Варбург в последние годы своей жизни. Каждая из панелей представляла тематическую подборку репродуцированных изображений, которые фиксировали формулы пафоса в визуальных образах от Древнего Вавилона до веймаровской Германии. Внимание А. Варбурга привлекли как произведения высокого искусства, так и картинки из современных ему изданий, выходявших массовым тиражом. Открывавшиеся глазу нелинейные связи транслировали историческую память, связывали прошлое с настоящим.

Осмывая атлас «Мнемозина», Ж. Диди-Юберман подчеркивает его медийную природу. Эпоха репродуцирования, оторвавшая образ от артефакта, позволила А. Варбургу заниматься манипуляциями с фотоизображениями из собственной коллекции, по-разному их масштабировать и группировать, интуитивно выстраивая перекрестные ссылки, добиваясь различных эффектов в целостном построении каждой панели [6 р. 296]. Ж. Диди-Юберман концептуализирует понимание атласа как особого архива, способного бесконечно формировать новые смыслопорождающие контексты с возможностью модифицировать каждое найденное значение [7 р. 290]. Формат «Мнемозины» предполагает и следование логике А. Варбурга, и выстраивание собственных внутренних связей. Подобно фейерверку, пишет он, образы «выстреливают» в разных направлениях, создавая визуальную матрицу множасьих уровней интерпретации. Перед нами открытая программа будущих исследований, которая может лечь в основу новой теории «меморативной функции образов» в культуре [6 р. 301–302].

Атлас для Ж. Диди-Юбермана – это особый формат получения знаний. Этимологически уходящие в античный миф об Атланте, держащего на плечах всю тяжесть мира, атласы были известны в Европе с XVI в. К началу XX в. они воспринимались как важнейшие инструменты в исследовательской практике. Благодаря изолированию и группировке образов, возможностям сравнительной визуализации изучаемых объектов, они конструировали значения, придавая научному знанию статус объективности. А. Варбург, однако, создает новое пространство визуальных и концептуальных связей, имеющее «чувственное измерение». Он формирует, подчеркивает Ж. Диди-Юберман, не атлас изображений, а атлас образов («диалектический образ отношений между образами») [6 р. 326]. Картографирование объектов на панелях позволяет выявлять как пространственные, так и временные отношения разделенных историческими обстоятельствами образов; наблюдатель самостоятельно выбирает точку отсчета и требуемый для реализации его зрительской/исследовательской концепции сценарий.

Атлас в интерпретации Ж. Диди-Юбермана становится не только способом организации идей и значений, но открытой эпистемической парадигмой, каждый раз через визуальную незавершенность показывающей не приведенные к устойчивому состоянию образы, но их меняющиеся, незаконченные конфигурации [7 р. 12–13].

Представление образов в атласе «Мнемозина» основано на принципе монтажа, делающем темпоральность атласа дискретной. Ж. Диди-Юберман соотносит варбурговский монтаж с коллажным мышлением, которое проявилось в творческих практиках начала XX в., и с развивающимся в это же время киномонтажом. Он осмысляет монтаж как возможность создавать новые конфигурации образов через свободную игру ассоциаций и воображение. Главным становится пространство между образами. Ассоциативный монтаж, собирающий вместе гетерогенные образы, стимулирует работу воображения, которое рождает множественность реакций, чувств и смыслов, выявляет «скрытые и секретные связи», новые «соотношения и аналогии», которые неисчерпаемы как неисчерпаемо мышление [7 р. 13–14]. Пространство между образами – это, по Ж. Диди-Юберману, пространство-симптом, хранящее культурную память, реализующее меморативные функции образа.

Как импульсы, исходящие от варбурговского атласа, определяют работу воображения? Загадочное сближение образов, как бы различные они ни были, пишет Ж. Диди-Юберман, заставляет нас чувствовать, «открывает» наш взгляд. Он находит эти импульсы в способе представления изображений «Мнемозины». Для него важны темные интервалы между репродукциями атласа. Как метафоры пространственно-временного разрыва, они формируют особый ритмический рисунок, раскрывают себя как «интервалы значений», как «психологический закон», как среда «жизни» образов-фантомов. Пространство представления приобретает способность через чувственное восприятие манифестировать смыслы образов [6 р. 326–332].

Таким образом, атлас «Мнемозина» в интерпретации Ж. Диди-Юбермана является уникальной возможностью представить сложнейшую концепцию. Формат атласа как самостоятельного медиума, открытого новым значениям, генерирует и конструирует новые смыслы хранящих культурную память образов, демонстрируя значение меняющихся контекстов. Не история искусства, но история культуры являет себя через визуальные формы. Атлас становится работающей моделью получения знания через чувственный опыт, стимулируемый работой воображения. Проект А. Варбурга становится для Ж. Диди-Юбермана ключом к познанию современности; серия выставок, куратором которых он выступил, служит этому подтверждением.

*«Атлас. Как держать мир на своих плечах?»:
выставка как визуальная форма познания*

От концептуализации атласа «Мнемозина» как модели получения знаний Ж. Диди-Юберман делает следующий шаг в сторону осмысления А. Варбурга. Он выступает куратором серии выставочных проектов, развивающих его интерес к атласу. Эти проекты можно определить как опыт перенесения исследовательской деятельности в экспозиционное пространство, позволивший их создателю не только представить оригинальную интерпретацию варбургских идей, но трактовать их как универсальный алгоритм понимания базовых культурных процессов.

Первая серия проектов под названием «Атлас. Как держать мир на своих плечах?» была проведена в 2010–2011 гг.² Название выставки метафорически связывало мифологического Титана с атласами, представляющими научное знание. Проект представлял атлас как символическую модель, демонстрирующую рождение научных концепций, художественных идей, культурных смыслов. Сам Ж. Диди-Юберман характеризовал экспозицию как междисциплинарный выставочный проект, точкой отсчета для которого явился атлас «Мнемозина». Он подчеркивал: детище А. Варбурга может быть осмыслено и как «документальная история западного воображения», и «как инструмент, служащий пониманию политической силы образов в истории». По его словам, выставка – это «по-новому рассказанная история визуальных искусств». Размышляя о возрастании значения атласа как модели познания в эпоху повсеместного распространения технически созданных визуальных образов, Ж. Диди-Юберман говорил о роли игрового начала, визуальной открытости, возможности реконфигурации значений [8].

Выставка представляла зрителям сложно организованную историю «вечного движения и вечного возвращения» разнородных образов, представленных графикой, инсталляциями, фотографиями, фрагментами кинофильмов, а также документальными материалами. Экспозиция начиналась с репродукций нескольких панелей «Мнемозины» и античной скульптуры Атласа/Атланта, держащего на своих плечах земной шар. Она состояла из четырех разделов, представлявших кураторскую концепцию: «Познание через образы», «Реконфигурация порядка представления предметов», «Ре-

² Выставки состоялись в Музее Reina Sofia (Мадрид, Испания), музее ZKM (Центр искусств и медиатехнологий, Карлсруэ, Германия) и галерее Deichtorhallen-Sammlung Falckenberg (Гамбург, Германия).

конфигурация порядка представления мест», «Реконфигурация порядка представления времени». Каждый раздел показывал различные уровни интерпретации атласа как эпистемической модели. На выставке можно было видеть персональные (принадлежавшие художникам, писателям, ученым) атласы, формировавшие новые контуры знания. Их представление выявляло разные методы организации знания, встречающиеся в атласах. Экспозиция, далее, напоминала об атласе как о собрании географических карт: в некоторых случаях можно было видеть конвенциональное использование карт, в других – картографирование для переосмысления ландшафтов или для создания иной, более сложной художественной реальности. В такой интерпретации атлас превращался в инструмент визуального анализа, позволяющий исследовать как субъективную географию, так и персональную хронологию. Все это свидетельствовало об атласе как инструменте, благодаря которому исследуется настоящее и извлекаются пласты исторической памяти.

В таком виде проект Ж. Диди-Юбермана может быть определен как «атлас атласов», представляющий в формате выставки особую модель получения знания. Каждый новый контекст рождал новые конфигурации смыслов, стимулировал постоянное вопрошание, активизировал воображение, направлял внимание к исторической и культурной памяти. Это и есть, пишет Ж. Диди-Юберман, «само время, которое становится видимым при монтаже образов. Каждому – художнику и ученому, мыслителю и поэту – подвластно усилить эту видимость, чтобы увидеть время: это источник изучения истории для понимания ее археологии и политической критики, для ее “демонтажа”, для того, чтобы иметь представление об альтернативных моделях» [8].

«Мнемозина 42»: «образы-фантомы» в пространстве мультимедийной выставки

Выставочная репрезентация атласа как культурной модели познания мира была продолжена в 2012 г. Французский фонд Френуа инициировал проект под названием «Истории образов-фантомов для взрослых»³. Концепция экспозиции радикально изменилась. На выставке не было ни одного материального экспоната, она стала полностью мультимедийной. В качестве сюжетной основы

³ См.: *Histoires de Fantômes pour Grandes Personnes* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/histoires-de-fantomes-pour-grandes-personnes> (дата обращения 27.01.2019).

была выбрана 42-я панель «Мнемозины», отталкиваясь от которой Ж. Диди-Юберман развернул собственную историю образов. Комментируя свой замысел, он подчеркнул, что целью выставки было стремление продолжить дискуссию, начатую предыдущим проектом. По его словам, важно было не только представить идею А. Варбурга, но, продолжив замысел создателя «Мнемозины», «создать целое созвездие новых образов. образов черно-белых (как у Варбурга), так и цветных. образов статичных (как у Варбурга), так и движущихся. образов немых (как у Варбурга), так и звучащих». В итоге получилась экспозиция, развившая концепцию А. Варбурга о продолжении «жизни» образов через медийные возможности, соответствующие своему времени. Была создана легко, как и реальный атлас, перемещаемая, адаптируемая к любому пространству, «выставка эпохи технической воспроизводимости» [9].

Итоговая версия экспозиции была представлена в Palais de Токуо (Париж) и получила название «Новые истории образов-фантомов». Парижская экспозиция, названная выставочной формой, до этого не существовавшей [10], наиболее полно воплотила разработанную Ж. Диди-Юберманом концепцию атласа как носителя культурной памяти.

42-я панель атласа «Мнемозина» посвящена теме смерти, страдания и скорби. Представив на ней работы художников Возрождения, А. Варбург выявил визуальные архетипы, зафиксированные в формулах пафоса: смерть являет себя в образе мертвого Христа, страдание и горе – в образе Богородицы, оплакивающей своего Сына. Изображения закреплены на панели таким образом, что их экспрессивное начало усилено визуальной оппозицией мужского, мертвого, статичного (Христос) и женского, живого, наполненного внутренним и физическим движением (Богородица). Движение зрительского глаза подчиняется заложенному в организацию целого ритмам; оно может разворачиваться в разных направлениях, выявлять неочевидные связи, открывать разные уровни интерпретации. Поиск смыслов и значений панели атласа принципиально открыт. Творчески ориентированное воображение зрителя отправляется в свободный поиск скрытых аналогий и соответствий исторической жизни образов смерти и оплакивания, раскрывающихся через разрывы во времени и в пространстве.

Ж. Диди-Юберман переносит идеи, заложенные в 42-й панели, в мультимедийное выставочное пространство. В помещении Palais de Токуо разворачиваются фотообразы и кинофрагменты, представляющие тему смерти и скорби в современной визуальной культуре. Посетителю представлены цифровые копии офортов Ф. Гойи, этюдов П. Пикассо к «Гернике», рисунков Б. Брехта, эпизоды из

фильмов С. Эйзенштейна, П.П. Пазолини, Ж.-Л. Годара и др. В общий поток образов включены документальные и этнографические материалы. Приглашенный к работе над проектом австрийский фотограф А. Гизингер выставил огромный коллаж из фотографий, сделанных на предыдущих выставках Ж. Диди-Юбермана. Медийные образы «атласа атласов» дополняют экспозицию и в контексте выставки получают новую жизнь.

Экспозиция начинается медийной проекцией 42-й панели атласа. Далее посетитель попадает в главное выставочное пространство. Огромный коридор затемнен, свет излучают только цифровые образы; они сопоставлены друг с другом по принципу варбурговского монтажа. Пространство выставки наполняется образами-фантомами; каждый из них, статичный и динамичный, экспрессивен, демонстрирует трагические сцены смерти, скорби, оплакивания. Видеопроекции, имеющие собственное время, подчинены сложному ритму целого. В выставочном контексте между образами устанавливаются неочевидные временные связи. Интервалы превращаются в симптомы, хранящие коллективное бессознательное.

Посетители имеют разные возможности перемещения по главному пространству экспозиции. Они могут подняться на балкон и сверху наблюдать за зрелищем, представленным как лист атласа. Смонтированный из фотографий фриз А. Гизингера на стене, мерцающие, асинхронно движущиеся, сопровождающиеся звуками криков и стонаний образы на полу – все нацеливает на восприятие переселившихся в современность формул пафоса, которые явили себя когда-то в античных фигурах и искусстве Ренессанса. Но посетитель может спуститься вниз и пройти по основному залу экспозиции: в этом случае зритель метафорически *погружается* в образ, оказывается *внутри* пространства, «населенного» образами-призраками, *внутри* мира страданий и скорби. Сцены смерти и оплакивания, звучащие стенания погружают человека в среду, по-особому воздействующую на его сенсорику. Не интеллектуальная рефлексия, но телесная, кинестетическая реакция заставляет воспринимать экспозицию как пространство аффекта.

Выставка переносит модель атласа в современное медийное пространство. По словам Ж. Диди-Юбермана, «Мнемозина 42» – это не художественный проект, а «визуальный *modus operandi*», пространство, позволяющее экспериментировать со взаимосвязями образов, ритмов, масштабов, размеров и цветов, подобно тому, как это делал А. Варбург, раскладывавший на своих панелях «громадный изобразительный пазл трагедии западной культуры» [9].

Созданная Ж. Диди-Юберманом выставочная модель атласа демонстрирует иной, соответствующий логике цифровой эпохи формат трансляции исторической памяти. Образы, получившие визуально воспринимаемое динамическое измерение, приобрели новые контексты. Если вспомнить, что А. Варбург, постоянно перемещая на панелях атласа репродукции, меняя масштабы, фрагментируя и т. д. изображения, предполагал ментальную работу исследователя, отслеживающего движение формул пафоса в различных исторических и художественных контекстах, то Ж. Диди-Юберман открывает возможность визуализировать современную «жизнь» образов. Генерирующие значения и формирующие пространство памяти интервалы варбурговского атласа наполняются постоянно меняющимися наложениями и сопоставлениями, рождающими новые интеракции между образами. Их восприятие – как и в современной медиареальности в целом – строится на аффективной реакции, задействующей телесный и чувственный опыт воспринимающего субъекта.

Экспозиция Ж. Диди-Юбермана выявляет трансформацию культурного сознания. Она показывает модели визуализации скрытых значений образов в эпоху технических медиа, демонстрирует решающую роль кинестетического опыта. Цифровые технологии создают среду с модифицированными характеристиками. Эта среда рождает разного рода аффективные реакции, связанные с утратой привычных ориентиров восприятия: пространство утрачивает определенность, границы между иллюзорным и реальным становятся неясными, время воспринимается как дискретное. В этих условиях уже не зрение, а телесная реакция определяет модели поведения и стратегии восприятия, стимулирует работу воображения. Контекст собственной телесной реальности подключается к меняющимся контекстам представленных – эфемерных, фантомных – медиа-образов. Познание последних через восприятие превращается в открытый, динамичный процесс, формирующий индивидуальные конфигурации смыслов.

Выставка «Новые истории образов-фантомов» не просто представила идею варбурговского атласа как уникальную модель познания общекультурных процессов. Ее можно оценить как перформативный акт, позволивший оригинально использовать замысел А. Варбурга для анализа современных проблем восприятия образа. Ж. Диди-Юберман визуализировал важнейшие положения своей концепции, поставил проблему образа в современной цифровой культуре. Он подтвердил эвристичность атласа как способа получения знания, его значение как носителя культурной памяти.

Заключение

Ж. Диди-Юберман занимает видное место среди представителей визуальных исследований. Его феноменологически ориентированная теория трактует образ как самостоятельный носитель культурных значений. Восприятие образа предполагает стимулирование чувственной и телесной реакции, включающей работу воображения. Не столько через анализ артефактов, сколько через подключение рецепторных механизмов, фиксирующих след прошлого опыта, происходит трансляция исторической памяти.

Особую роль в разработке научной концепции Ж. Диди-Юбермана сыграло наследие А. Варбурга, в частности его атлас «Мнемозина». Изучая знаменитый проект немецкого искусствоведа, развивая его идеи о медиасреде как генераторе возможностей трансляции образов, Ж. Диди-Юберман проблематизировал атлас как способ визуального представления открытого, нелинейно организованного знания об искусстве. Атлас для него оказался не архивом изображений, но рабочим инструментом, позволяющим исследовать логику циркуляции образов в историко-культурном пространстве.

Представленные в статье выставочные проекты Ж. Диди-Юбермана позволяют сделать вывод о том, что в его концепции атлас осмысливается как продуктивная форма организации знания, потенциал которой может быть осмыслен только в цифровую эпоху. Из объекта интеллектуальной рефлексии он превращается в визуальный образ, моделирующий сферу культурной памяти. Выступив как варбурговский ученый-сейсмограф, Ж. Диди-Юберман сумел создать пространство современной «жизни» образов, выявить специфику трансляции и рецепции формул пафоса в эпоху цифровой воспроизводимости, показать возможности технических медиа выстраивать невидимые, анахроничные связи и формировать новые контексты.

Образное начало атласа связано не только с опытом моделирования Ж. Диди-Юберманом собственной теории. В серии выставочных проектов, посвященных 42-й панели «Мнемозины», он предлагает оригинальный перформанс, «погружающий» зрителя в пространство образов-фантомов. Тем самым он выявляет иную природу воображения в цифровую эпоху. Перемещение в медиасреде приводит к рождению сильной эмоциональной и телесной реакции, подтверждающей идею о роли восприятия в познании художественных артефактов. Пространство выставки-атласа предстает как инструмент визуального анализа, образно репрезентирует сформированную им модель циркуляции смыслов в истории, модель формирования культурной памяти.

Литература

1. *Бахман-Медик Д.* Культурные повороты: Новые ориентиры в науках о культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
2. *Didi-Huberman G.* La Peinture incarnée suivi de Le Chef-d'œuvre inconnu, d'Honoré de Balzac. P.: Les Editions de Minuit, 1985. 167 p.
3. *Didi-Huberman G.* Invention de l'hystérie. Charcot et l'Iconographie photographique de la Salpêtrière. P.: Macula, 1982. 456 p. 116 ill.
4. *Didi-Huberman G.* Devant l'image. Questions posées aux fins d'une histoire de l'art. Paris: Les Editions de Minuit, 1990. 352 p. 18 ill.
5. *Диду-Юберман Ж.* Перед образом // Искусство. 2016. № 3 (598). С. 76–91.
6. *Didi-Huberman G.* The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg's History of Art. Philadelphia: Penn State University Press, 2017. 432 p. 93 ill.
7. *Didi-Huberman G.* Atlas ou le gai savoir inquiet. L'Oeil de l'histoire. Paris: Les Editions de Minuit, 2011. 384 p. 73 ill.
8. *Didi-Huberman G.* ATLAS: How to carry the world on one's back? [Электронный ресурс]. URL: <https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/notas-de-prensa/2010-004-dossier-en.pdf> (дата обращения 28.08.2019).
9. *Didi-Huberman G.* Mnemosyne 42 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.manifestajournal.org/issues/regret-and-other-back-pages/mnemosyne-42> (дата обращения 28.08.2019).
10. *Didi-Huberman G., Gisinger A.* Nouvelles histoires de fantômes [Электронный ресурс]. URL: <https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/georges-didi-huberman-et-arno-gisinger> (дата обращения 28.08.2019).

References

1. *Bachmann-Medick D.* *Cultural Turns: New Orientations in the Study of Culture.* Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2017. 504 p. [In Russ.]
2. *Didi-Huberman G.* *La Peinture incarnée suivi de Le Chef-d'œuvre inconnu, d'Honoré de Balzac.* Paris: Les Editions de Minuit, 1985. 167 p.
3. *Didi-Huberman G.* *Invention de l'hystérie. Charcot et l'Iconographie photographique de la Salpêtrière.* Paris: Macula, 1982. 456 p. 116 ill.
4. *Didi-Huberman G.* *Devant l'image. Questions posées aux fins d'une histoire de l'art.* Paris: Les Editions de Minuit, 1990. 352 p. 18 ill.
5. *Didi-Huberman G.* Confronting images. *Iskusstvo.* 2016;3:76-91. [In Russ.]
6. *Didi-Huberman G.* *The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg's History of Art.* Philadelphia: Penn State University Press, 2017. 432 p. 93 ill.
7. *Didi-Huberman G.* *Atlas ou le gai savoir inquiet. L'Oeil de l'histoire.* Paris: Les Editions de Minuit, 2011. 384 p. 73 ill.
8. *Didi-Huberman G.* *ATLAS: How to carry the world on one's back?* [Internet]. URL: <https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/notas-de-prensa/2010-004-dossier-en.pdf> (data obrashcheniya 28.08.2019).

9. Didi-Huberman G. *Mnemosyne* 42 [Internet]. URL: <https://www.manifestajournal.org/issues/regret-and-other-back-pages/mnemosyne-42> (data obrashcheniya 28.08.2019).
10. Didi-Huberman G., Gisinger A. *Nouvelles histoires de fantômes* [Internet]. URL: <https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/georges-didi-huberman-et-ar-no-gisinger> (data obrashcheniya 28.08.2019).

Информация об авторе

Ирина Н. Захарченко, кандидат исторических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; Россия, 125993, г. Москва, Миусская пл., д. 6; inzakh@gmail.com

Information about the author

Irina N. Zakharchenko, Cand. of Sci (History), associate professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq, Moscow, 125993, Russia; inzakh@gmail.com

УДК 070(09)

DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-149-160

Радиоголос как режим интермедиальности в советской культуре

Виктория В. Плужник

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, pluviktoriya@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам понятия интермедиальности и возможностям его применения в контексте изучения советской культуры. На основе уже разработанных подходов интермедиальность предполагается понимать как отсылку внутри одного медиума к медиальным характеристикам другого. Однако в контексте советских медиа такого определения недостаточно. На примере радиоголоса и его функционирования в художественных медиапродуктах автор показывает, что в советской культуре интермедиальные конфигурации тесно связаны с идеологическими и антропологическими конструктами. Медиальные особенности радио (бестелесный голос, абстрактный материальный посредник, коллективность слушания, структурирование внимания и другие) транслируют актуальный культурный порядок и могут быть обнаружены в других медиа, в частности в кино. Поэтому радиоголос можно рассматривать не только как аудиальный феномен, но и как определенный дискурсивный режим, проявляющийся через материальные носители голоса (технические и телесные), визуальные каноны слушания такого голоса, контексты слушания и текстовую репрезентацию голоса, «комментирующую» визуальные образцы. Автор предлагает использовать понятие режимов интермедиальности для анализа таких культурных форм.

Ключевые слова: интермедиальность, советское радио, радиоголос, кино, материальность, письмо, антропологические режимы

Для цитирования: Плужник В.В. Радиоголос как режим интермедиальности в советской культуре // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 149–160. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-149-160

Radio voice as regime of intermediality in Soviet culture

Victoria V. Pluzhnik

*Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia; pluviktoriya@yandex.ru*

Abstract. The article is devoted to the theoretical aspects of the concept of intermediality and the possibilities of its application in the context of Soviet studies. Based on already developed approaches, intermediality is understood as a reference within one medium to the medial characteristics of another. However, such a definition is not enough in the context of Soviet culture. Using the example of the radio voice and its functioning in artistic media products, the author shows that in Soviet culture intermedial configurations are deeply connected to the ideological and anthropological constructs. The medial characteristics of radio (disembodied voice, abstract material mediator, collective listening, structuring attention and others) transmit the current cultural order and can be found in other media, in particular in the films. Thus, a radio voice can be considered not only as an audio phenomenon, but also as the particular discursive mode manifested through materiality of the medium (technical and physical), visual practice of listening to this voice, contexts of listening and textual representation of the voice that “comment on” visual canons. The author suggests using the concept of intermedial regimes for the analysis of such cultural forms.

Keywords: intermediality, soviet radio, radio voice, film, materiality, writing, anthropological modes

For citation: Pluzhnik VV. Radio voice as regime of intermediality in Soviet culture. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8:149-160. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-149-160

Введение

В контексте советской культуры радио (и радиоголос) можно рассматривать как интермедиальную категорию, в которой аккумулируются важнейшие структуры повседневного опыта советского человека. Появление и массовое распространение радио в 1920–1930-х гг. шло синхронно с процессом модернизации населения – приобщения преимущественно крестьянского населения страны к модерным, городским практикам [1]. Основную роль в этом процессе играли медиа, обладавшие рядом преимуществ – массовым охватом, развлекательностью, а также апелляцией к чувственному опыту. Последний аспект интересует нас в первую очередь потому, что, говоря о советском человеке, мы имеем в виду не только субъекта новых коллективных представлений и систем значений, но также агента других, внесемиотических практик. Речь идет о существенной перестройке структуры антропологического опыта, об изменении норм

и стратегий поведения, смене образцов чувствования и телесных моделей [1 с. 18–19]. Медиа способствовали формированию новых практик зрения, слушания и говорения, отношения к собственному телу.

Радио активно участвовало в процессе перестройки культурной чувственности и в самих своих медиальных качествах аккумулировало новые антропологические категории (например, такую базовую, как ощущение времени и пространства). Советские общественные пространства были наполнены звучащим словом, и хотя к 1960-м гг. некоторые практики слушания индивидуализируются (с появлением телевидения и увеличением количества частных радиоприемников), слушание еще долго сохраняет свою коллективную модальность [2 с. 368–369]. Поэтому говоря о советском медиатизированном голосе, мы имеем в виду одного из посредников того нового антропологического опыта (и культурного порядка), который сформировался в Советском государстве в 1920–1930-х гг. и окончательно укоренился к 1950-м гг.¹

На сегодняшний день существует корпус авторитетных исследований, обращающихся к советскому радио с точки зрения культурной истории медиа. В них описываются институциональные аспекты функционирования советского радио и политика программирования (Т. Горяева) или практики радиослушания (С. Ловелл). Вместе с этим появляются исследования, в которых радио (и радиоголос) рассматривается в более широком медийном, художественном и культурном контекстах – в поэзии и прозе (Ю. Мурашов) или в кино (О. Булгакова, С. Хэнсен, Л. Кагановски). На каком основании становится возможно находить «следы» радио в текстах или визуальных образах? Как осуществляется этот методологический трансфер? И чем он может быть полезен для исследования «советского» как культурно-антропологической конструкции?

Интермедиальность как исследовательская категория

Во второй половине XX в. в академическом языке появилась большая группа новых понятий, призванных схватить и описать черты усложняющейся медиакоммуникации. Многие из них сфокусированы на понимании соприсутствия разных медиумов, опосредующих друг друга, – трансмедиальности, интермедиальности, интрамедиальности, мультимодальности и т. д. В особенности примечательно понятие интермедиальности, ставшее популярным в англоязычном (*intermediality*, *interart studies*) и немецкоязычном (*Intermedialität*) академическом дискурсе. Оно содержит инструментальный ресурс, который отсутствует у таких понятий, как «трансмедиальность» или «мультимедиальность». Приставка «интер» проблематизирует границы и отношения *между* разными медиа, обнаруживает само этого

¹ Имеется в виду хронология, предложенная А. Юрчаком, в соответствии с которой культурно-антропологическая конструкция «советского» складывалась с 1920-х до начала 1950-х гг.

пространство «между» [3 р. 46]. Происходит сдвиг в сторону изучения взаимодействий и отношений, созвучный не только усложняющейся действительности, но также институциональным процессам в науке и методологическим поискам, возникновению междисциплинарных областей знания. В попытке описать это новое концептуальное пространство исследователи из разных дисциплин обращаются к различным понятиям и подходам, классификацию которых можно найти, например, у И. Раевски [3].

Для ряда исследователей принципиально важным становится понимание онтологически интермедиального характера культурной медиакоммуникации, т. е. постоянной опосредованности одних медиаобщений другими². Но такое широкое понимание интермедиальности требует конкретизации через отдельные подходы и те задачи, которые в них решаются. Как предполагает Дж. Шретер [4 р. 6], именно понимание характера интермедиальных отношений, а не подход к конкретному медиа определяет дискурсивную установку исследования.

Ирина Раевски [3 р. 51–52] выделяет три субкатегории интермедиальности: медиальный перенос (*medial transposition*), медиакомбинация (*media combination*) и интермедиальная отсылка (*intermedial references*). Под медиальным переносом понимается перевод оригинального текста (в широком смысле) из одной медиаформы в другую (например, экранизация как перевод вербального текста в киноформат). Медиакомбинация описывает те формы культурной коммуникации, в которых задействуется одновременно как минимум два медиальных посредника (театр, кино, перформанс и т. д.). Хотя эти два вида интермедиальности являются, вероятно, наиболее популярными, нас будет интересовать только третья категория, интермедиальная отсылка, так как в ней аккумулируется важный критический потенциал.

Этот подвид интермедиальности представляет собой, по определению Раевски, присутствие в медиатексте отсылки к элементам или структурам другого медиа (например, «фильмическое» в литературе или «живописное» в фотографии). Имеется в виду не просто упоминание другого медиума, но такое цитирование, при котором происходит отсылка к медиальной специфике другого средства выражения [3 р. 52]. Язык, который при этом используется, остается языком материально представленного медиума. Можно говорить о своеобразном переводе выразительных средств одного медиума на язык другого. И хотя цитируемый медиум материально отсутствует в непосредственный момент восприятия медиапродукта, возникает иллюзия его присутствия³ [3 р. 55].

² Еще в книге «Понимание медиа» 1964 г. Маршал Маклюэн утверждал, что содержанием одного медиума является другой медиум. В самом конце XX в. Дж.Д. Болтер и Р. Грузин в книге «Понимание новых медиа» (“*Understanding New Media*”), с отсылкой к классикам медиаисследований, предложили концепцию ремедиации, проблематизирующую современное цифровое пространство перманентной опосредованности одних медиа другими.

³ “It is precisely this illusion that potentially solicits in the recipient of a literary text, say, a sense of filmic, painterly, or musical qualities, or – more generally speaking – a sense of a visual or acoustic presence”.

Кроме того, по мнению Раевски [3 р. 53, 57], интермедиальная отсылка не является случайным элементом медиапродукта или его составной частью, как в случае с медиакомбинацией. Напротив, в нем сознательно конструируется и конституируется определенное отношение к другому медиуму, позволяющее увидеть выразительный и смысловой зазор между одним и другим. В таком понимании интермедиальность становится «критической категорией для предметного анализа единичных медиапродуктов», благодаря которой возможно проблематизировать особенности восприятия и одного и другого медиума. Поэтому медиапродукты, в которых обнаруживаются интермедиальные отсылки, можно рассматривать как рефлексивные практики, авторские высказывания, укорененные в культурном контексте той или иной исторической эпохи.

Последний аспект особенно важен. Подход к анализу интермедиальности во многом зависит от исторического контекста, к которому относятся рассматриваемые медиа, – от культурной роли тех или иных медиумов, их художественных возможностей, значения, которое придется реципиенту или участнику медиальных и художественных практик, в конце концов, от технического уровня медиа и многих других факторов [3 р. 50]. Поэтому не может быть универсальной методологии интермедиальности⁴, и даже в рамках отдельной категории «интермедиальной отсылки» возможны более тонкие теоретические и методологические настройки, связанные со спецификой медиакультуры (и культуры в целом) того или иного исторического периода.

Беря за основу определение интермедиальности как перевода элементов и структур одного медиа на язык другого, мы рассмотрим, каковы его возможности для анализа отдельных культурных форм и практик советского периода, связанных с осмыслением роли радио.

Важно понимать, что советское радио 1920–1930-х гг. существовало в контексте синтеза разных форм чувственного восприятия не только на уровне отдельных художественных практик, но и на уровне государственного идеологического строительства. Интермедиальность советского культурного пространства связана с высокой степенью опосредованности одних и тех же идеологических смыслов разными медиа, что порождает устойчивые интермедиальные конфигурации. Речь идет о сопresутствии плакатов, лозунгов, фотографических изображений, кинообразов и других форм медиакоммуникации, замещающих друг друга и транслирующих конвенциональные смыслы. Такие устойчивые медиальные и смысловые конфигурации мы предлагаем называть *режимами интермедиальности*.

Режимы интермедиальности в фильме «Одна» (1931)

Если мы обратимся к художественным практикам 1920–1930-х гг., то увидим отдельные случаи рефлексии об идеологических и интермедиальных конфигурациях советской культуры, которые концентрируют-

⁴ В отсутствии универсальных инструментов анализа заключается один из аспектов критики теории интермедиальности.

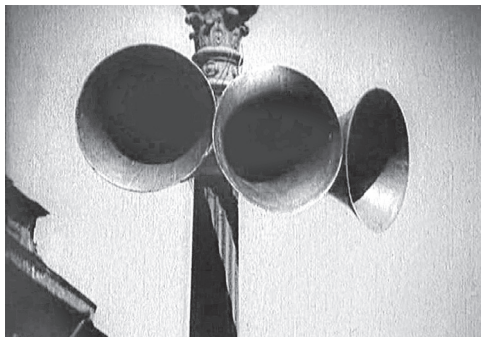
ся в категорию радиоголоса. Голос – основной выразительный элемент радио, поэтому его можно считать тем главным референтом, к которому происходит интермедиальная отсылка. Важную роль голос и его медиальные посредники играют в фильме «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Это один из первых звуковых советских фильмов, в котором взаимодействие изображения и звука становится предметом художественной рефлексии. Опуская аспекты, связанные с производством, дистрибуцией и восприятием этой картины (хотя для более полного анализа они чрезвычайно важны), мы сосредоточимся на особенностях взаимодействия разных медиа. Мы предлагаем рассматривать не только отношение медиума фильма к радио и голосу, но и отношение голоса к другим медиа, также присутствующим в кинокартине.

Медиатизированный голос (голос, опосредованный техникой) всегда окружен неаудиальными формами – в первую очередь визуальными. Голоса радиодикторов звучат из визуально знакомых и осязаемых предметов – громкоговорителей и радиоприемников, а голоса киноактеров закреплены за их медиальными телами, которые далеко не всегда являются их собственными, настоящими телами (что еще сильнее подчеркивает сконструированную природу и радио-, и киноголоса)⁵. Мы постоянно сталкиваемся с *материальными* носителями голоса, телесными или техническими (или одновременно обоими).

В фильме «Одна» важную роль играет акусматический голос – голос, чей источник мы не видим. Во многих культурных контекстах акусматический голос наделен особыми, зачастую сакральными смыслами. В контексте советской культуры бестелесный голос также обладает особой символической властью. В фильме «Одна» бестелесный голос из громкоговорителя вступает в конфликт с индивидуальным голосом главной героини, почти не озвученным в фильме и представленным в виде титров. С. Хэнсен [5] предлагает называть этот голос голосом власти. Визуально он репрезентирован тремя большими черными рупорами, установленными на столбе посреди площади (рис. 1). Мы видим их средним и крупным планом то с одной, то с другой стороны так, что создается иллюзия множества громкоговорителей в разных частях города или даже страны. Из них раздается звонкий мужской мобилизованный голос: «Товарищи! Решается судьба не одного, не сотен, а миллионов людей! В этот момент перед каждым стоит вопрос: Что ты сделал? Что ты делаешь? Что ты будешь делать?» Так как голос влияет на решения, принимаемые главной героиней, можно сказать, что он непосредственно вмешивается в сюжет картины. Более того, невидимый и деиндивидуализированный голос заставляет героиню буквально ответить на призыв, как будто обращенный к ней лично («Я буду жа-

⁵ О. Булгакова замечает, что в некоторых ранних фильмах визуальным маркером голоса персонажа становилось изображение, с ним связанное: «...идентичность героя в кино устанавливалась не через голос, а через изображение как таковое, включая и ландшафт и неодушевленный предмет, и это изображение могло фигурировать как дополнение и замена голоса» [2 с. 209–210].

Рис 1. Громкоговорители на площади (кадр из фильма «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга)



ловаться!»), что еще сильнее подчеркивает его значимость и символическую власть⁶.

Хэнсен выделяет в этом фильме еще один тип голоса – полувоплощенный голос власти. Это голос чиновницы, которую зритель видит только со спины, в виде черного силуэта (рис. 2). Ее голос – четкий, звонкий, с мобилизованной интонацией – оторван от ее тела, представленного и так предельно деиндивидуализированно. Когда чиновница говорит, мы видим уже не ее, а подавленную ответом главную героиню. Важно отметить, что по своим интонационным характеристикам этот голос близок к бестелесному голосу из громкоговорителя. Будучи опосредованным кинотехникой, он обладает теми же техническими параметрами, что и радиоголос. Булгакова называет такой голос медиальным или электрическим: «Технологии придают электрическому голосу дополнительную патину: его записанный звук всегда несет отпечаток процесса записи. Механические, электрические и электронные приборы (от рупора до микрофона, фильтров и усилителей) меняют тембр и звучание голоса, и звуковой ландшафт» [2 с. 14].

Хотя мы видим разные визуальные и материальные посредники, речь идет о дискурсивно смежных режимах восприятия голоса, который опосредован техникой и воплощает медиальный модус советской идеологии. Голос власти, таким образом, связывается не с человеком как индивидуумом, а с абстрагированными источниками голоса – деиндивидуализированным телом или техническим аппаратом. Поэтому Хэнсен замечает, что акустический голос или голос власти «можно локализовать в очертаниях технической аппаратуры, выступающей в роли некоего сверхперсонажа» [5 с. 362].

Абстрактный материальный знак, маркер тела или рупора – не единственный элемент, отсылающий в этом фильме к радио или к режиму слушания бестелесного голоса власти. Важную роль играют *практики зрения*: через взгляд и его визуальную репрезентацию происходит отсылка к контекстам аудиального восприятия. В одной из ключевых сцен фильма

⁶ Дискурсивные режимы, связанные с позицией власти и технологиями в этом фильме, анализирует Л. Кагановски в недавно вышедшей книге “The Voice of Technology. Soviet Cinema’s Transition to Sound 1928–1935” [6 p. 48–51].



Рис. 2. Главная героиня на приеме у чиновницы (кадр из фильма «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга)

кадры с громкоговорителем чередуются с лицами отдельных людей, которые смотрят вверх и слушают сообщение (рис. 3). Громкоговорители стоят изолированно и высоко, так что этот голос доносится буквально сверху, как «голос бога». Он обладает особым знанием и всевидящим глазом («решается судьба», «в этот момент», «миллионов людей»), обращается лично к каждому и требует мобилизации. Визуальный режим слушания громкоговорителя можно сравнить с советской фотографией, на которой люди внимательно и радостно всматриваются вдаль. Восприятие такой фотографии требует культурного воображения, навыка видеть то, что не видно [7 с. 75–76]. В фильме «Одна» взгляд и слушание – один из способов включения пространственного идеологического воображения. В упомянутой выше сцене создается иллюзия множества рупоров и множества слушающих, причем за крупными планами лиц видны другие люди, стоящие рядом, в толпе. Слушание радио в 1920–1930-е гг. было коллективной практикой, предполагало разделение смыслов с другими людьми. Но эта коллективность не только непосредственная, но и воображаемая. Радио позволяет связывать разные части государства, соединять самые дальние уголки страны с политическим и культурным центром. Поэтому в следующей сцене лица городских жителей сменяются лицами коренных жителей Алтая, также смотрящих вверх (возможно, тоже слушающих этот голос) и ожидающих прибытия самолета.

Географическая логика пронизывает весь фильм и на сюжетном уровне, и на аудиовизуальном. Главная героиня вынуждена ехать на Алтай, чтобы учить местных детей. Несколько раз мы видим прямые визуальные отсылки к географическим представлениям: карта, висящая в кабинете чиновницы (рис. 2), или глобус, который держит в руке главная героиня, разыгрывая свою речь перед воображаемыми учениками. Эти ситуации связаны с авторитетными позициями, реализующимися через роль государственного служащего или учителя, и отсылают к дисциплинарным режимам. Кроме того, именно голос из громкоговорителя сообщает всем о том, что главной героине, находящейся на Алтае, нужна помощь. Этот голос одновременно обладает знанием об отдельном человеке и возможностью донести это знание до всех людей в разных частях страны. Таким образом, происходит определенного рода структурирование взгляда и

Рис 3. Люди слушают голос из громкоговорителя (кадр из фильма «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга)



слуха за счет связывания общего и локального, условного и «реального», воображаемого и осязаемого.

Голос чиновницы в обеих сценах фильма, где он звучит, сопровождается звуком печатающей машинки – телетайпа, передающего телеграмму. С одной стороны, этот звуковой режим отсылает к медиальной природе радио – как с точки зрения техники, так и в смысле аудиальных режимов. Телеграмма озвучивается технически опосредованными звуками (электрическим голосом чиновницы и звуком клавиш телетайпа) и приобретает модальности, связанные с радиокommunikацией.

С другой стороны, звук печатающей машинки отсылает к медиуму *письма*. Устная речь отбивается звонкими клавишами и впечатывается в бумагу, становясь письменным Словом. Письмо – одна из центральных культурных конструкций 1930-х гг., в которой концентрируются идеологические смыслы – в первую очередь приобщение к грамматически и идеологически «правильному» языку [1]. В то же время сложно говорить о единоличной роли письма как главного медиума в культуре 1930-х гг. О. Булгакова замечает:

Письмо не становится носителем смысла. Формулировки действуют как ритмический повтор, чей смысл стерт. Сталин держит перед собой написанный текст речи, но не смотрит в него. В конце 1930-х гг. от него исходит инструкция не записывать определенные указания, а передавать их только устно. Новый медиум распространения голоса – радио – оптимально выполняет функцию устной передачи информации и может достичь каждого [8 с. 19].

Письменное слово не имеет своей силы без перевода в устный медиальный формат и возможности достичь каждого советского гражданина.

В этом смысле возникает вопрос о том, не воспринимаются ли отдельные виды текстов (идеологической модальности) в контексте устного, голосового высказывания? Похожий вопрос ставит В. Познер [9] в своей статье о практиках комментирования немого кино в конце 1910 – начале 1920-х гг. В это время была распространена практика показа идеологических фильмов, сопровождающихся комментарием специального работ-



Рис. 4. Титры, вводящие «закадровый голос» (кадр из фильма «Одна» (1931) Григория Козинцева и Леонида Трауберга)

ника. Его задачей было донесение до зрителей «правильного» понимания фильма. Для этого пояснители обращались к разным жанрам устной речи: лекция, импровизация, всевозможные народные формы устной речи. Устный комментарий присутствовал до, во время и после просмотра фильма в форме вступительного слова, краткого изложения действия, чтения надписей и титров, кинодискуссии, викторины или киномитинга. Познер обращает внимание не только на устные практики, но и на письменное и визуальное присутствие слова в других медиальных формах – стенгазетах, киножурналах и светогазетах, информационных листах и т. д. Она предлагает экстраполировать понятие устности, которое применяет к комментированию фильмов, и на другие, не устные формы медиакommunikации. Письменные тексты, апеллирующие к идеологическим смыслам и включенные в определенный (устный) контекст восприятия, могут быть рассмотрены с точки зрения аудиальной модальности [10]. Поэтому к модальности радиоголоса может отсылать не только диктующий телеграмму голос в аккомпанементе телетайпа, но и печатный текст, присутствующий, например, в титрах и подобно закадровому голосу комментирующий то, что происходит в фильме, предлагающий «правильную» модальность восприятия (рис. 4).

Заключение

Таким образом, интермедийность в фильме «Одна» работает сложно и нелинейно. Мультимедийность фильма позволяет выстраивать сеть отношений между разными медиумами, а не только однонаправленный перевод одного или нескольких на язык материально присутствующего медиума. Визуальные и аудиальные ресурсы фильма дают возможность совершать прямые и обратные трансфигурации, а также задействовать более широкий арсенал существующих художественных и культурных канонов. Так, мы видим, что к медиальной специфике радио могут одновременно отсылать и визуальные элементы фильма, и зрительные каноны, выработанные фотографией, и текстовые элементы, опосредованные голосовыми модальностями, и даже определенные пространственные логики или контексты восприятия. Одновременно с тем звуковые элементы фильма могут также отсылать к визуальным и текстовым практикам.

Однако важно понимать, что за этими интермедиальными связями стоят не только художественные поиски, но и культурная логика советского времени. Радиоголос и связанные с ним медиальные категории проявляют идеи централизации и иерархичности, специфические властные отношения и дискурсивные режимы. Они «упакованы» в конструкции чувствования (слушание, зрение, телесные ощущения), где одни чувства замещают или дополняют другие, помогая распознавать и угадывать идеологические модальности. Поэтому унифицированный и узнаваемый радиоголос 1930-х гг. можно «услышать» за фотографиями, текстами или определенными материальными объектами, связанными с медиальной спецификой слушания такого голоса. Так, подход к интермедиальности в контексте советской культуры может быть дополнен методологическим инструментарием культурной антропологии, а именно внимаем к тому, как через интермедиальные конфигурации формировались коллективные образцы поведения, а также представления о «нормальном», «национальном» или других культурных конструкциях. Мы предлагаем называть такие конфигурации, объединяющие антропологические и медиальные категории, режимами интермедиальности.

Литература

1. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. 156 с.
2. Булгакова О. Голос как культурный феномен. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 568 с.
3. Rajewsky I. Intermediality, intertextuality, and remediation: A literary perspective on intermediality // *Intermédialités*. 2005. No. 6. P. 43–64.
4. Schröter J. Discourses and Models of Intermediality [Электронный ресурс] // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13. Iss. 3. URL: <https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss3/3/> (дата обращения 16.08.2019).
5. Хэнсен С. «Audio-Vision»: О теории и практике раннего советского звукового кино на грани 1930-х годов // Советская власть и медиа / Под ред. Х. Гюнтера, С. Хэнсен. СПб.: Академический проект, 2005. С. 350–364.
6. Kaganovsky L. The Voice of Technology. Soviet Cinema's Transition to Sound 1928–1935. Indiana: Indiana University Press, 2018. 272 p.
7. Орлова Г. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в сталинскую эпоху // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М.: ООО Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 57–104.
8. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 320 с.
9. Познер В. От фильма к сеансу: К вопросу об устности в советском кино 1920–1930-х гг. // Советская власть и медиа: Сб. ст. / Под общ. ред. Х. Гюнтер и С. Хэнсен. СПб.: Академический проект, 2006. С. 329–349.
10. Аннанурова О. Изображение и текст в советском фоторепортаже // Вестник РГГУ. Серия: «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2011. № 17 (79). С. 92–100.

References

1. Kozlova N. *Socio-historical anthropology*. Moscow: Kliuch-S Publ.; 1998. 156 p. [In Russ.]
2. Bulgakova O. *Voice as a cultural phenomenon*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2015. 568 p. [In Russ.]
3. Rajewsky I. Intermediality, intertextuality, and remediation: a literary perspective on intermediality. *Intermédialités*. 2005;6:43-64.
4. Schröter J. Discourses and Models of Intermediality [Internet]. *CLCWeb: Comparative Literature and Culture*. 2011. Vol. 13. Iss. 3. URL: <https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol13/iss3/3/> (data obrashcheniya 16.08.2019).
5. Hänsgen S. "Audio-Vision". About theory and practice of early soviet sound film at the edge of 1930-s. V: *Sovetskaya vlast' i media*. Saint-Petersburg: Akademicheskii proekt Publ.; 2006. P. 350–364. [In Russ.]
6. Kaganovsky L. *The voice of technology. Soviet cinema's transition to sound 1928–1935*. Indiana: Indiana University Press, 2018. 272 p.
7. Orlova G. "Maps for the blind": policy and politicizing the vision in Stalin era. *Visual anthropology: regimes of visibility under socialism*. Moscow: Variant Publ.; CSPGS Publ.; 2009. P. 57–104. [In Russ.]
8. Bulgakova O. *The Soviet hearing eye. Cinema and its sense organs*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.; 2010. 320 p. [In Russ.]
9. Posner V. From the film to the cinema show. On the issue of orality in Soviet cinema in the 1920's – 1930's. V: *Sovetskaya vlast' i media*. Saint-Petersburg: Akademicheskii proekt Publ.; 2006. P. 329-49. [In Russ.]
10. Annanurova O. Image and text in the Soviet photoreporting. *RGGU Bulletin. "Culturology. Art History. Museology" Series*. 2011;17:92-100. [In Russ.]

Информация об авторе

Виктория В. Плужник, аспирант, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, г. Москва, Миусская пл., д. 6; pluviktoriya@yandex.ru

Information about the author

Victoria V. Pluzhnik, postgraduate student, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; pluviktoriya@yandex.ru

Концепции «платформенного общества» в современных социокультурных исследованиях

Галина И. Зверева

*Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, galazver@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются современные исследовательские стратегии социально-культурного анализа информационно-коммуникационных процессов и технологий в условиях медиатизированного общества. Внимание ученых привлекают место и роль глобальных медийных цифровых платформ в политическом, экономическом и социальном управлении. В особенности исследовательский интерес направлен на изучение форм и способов воздействия медиаплатформ на социальные коммуникации, публичную и частную сферы жизни общества. Поиски ученых тесно связаны с проблемами обновления концепций, понятийного аппарата и проблемных полей в социокультурных исследованиях. Это способствует введению в научный оборот ключевого понятия «платформенное общество», стимулирует формирование одноименных концепций и междисциплинарного направления *platform studies* в социокультурных исследованиях. В теоретической разработке новейших концепций «платформенного общества» можно выделить несколько проблемных узлов. В их числе: содержание понятия «платформенное общество», идея «платформенного» управления медиаконтентом и социальным общением, роль цифровых платформ в формировании «новой социальности».

Ключевые слова: медиатизированное общество, цифровая медиаплатформа, платформенное общество, алгоритмы управления, цифровой объект, новая социальность

Для цитирования: Зверева Г.И. Концепции «платформенного общества» в современных социокультурных исследованиях // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 8. С. 161–171. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-161-171

The concepts of platform society in contemporary socio-cultural research

Galina I. Zvereva

Russian State University of the Humanities, Moscow, Russia, galazver@mail.ru

Abstract. The article discusses modern research strategies of socio-cultural analysis of information and communication processes and technologies in a mediated society. The attention of scholars is attracted by the place and role of global media digital platforms in political, economic and social management. In particular,

research interest is aimed at studying the forms and methods of the impact of media platforms on social communications, the public and private spheres of society. The search for scholars is closely connected with the problems of updating concepts, conceptual apparatus and problem fields in socio-cultural studies. This contributes to the introduction of the key concept of “platform society” into research circulation, stimulates the formation of the concepts of the same name and the interdisciplinary direction of platform studies in socio-cultural studies. In the theoretical development of the latest concepts of a “platform society”, several problem nodes can be distinguished. Among them: the content of the concept of “platform society”, the idea of “platform” management of media content and social communication, the role of digital platforms in the formation of a “new sociality”.

Keywords: mediatized society, digital media platform, platform society, management algorithms, digital object, new sociality

For citation: Zvereva GI. The concepts of platform society in contemporary socio-cultural research. *RSUH / RGGU Bulletin. “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies” Series.* 2019;8:161-171. DOI: 10.28995/2686-7249-2019-8-161-171

Введение

Научный словарь современного социально-гуманитарного знания непрерывно пополняется множеством метафор и понятий, призванных фиксировать, описывать и объяснять процессы, которые связаны с развитием информационно-коммуникационных технологий и появлением новых социальных акторов, способных оказывать значительное влияние на жизнь общества. В философском и научном дискурсах уже прочно утвердились понятия «информационное общество», «сетевое общество», «цифровое общество», которые играют роль ключевых категорий анализа социально-культурных явлений, происходящих в современном мире.

С середины «нулевых» годов в мировой научный лексикон входит понятие «медиатизация общества», обозначающее сложный, динамичный процесс возрастания зависимости современного общества от средств массовых коммуникаций и их собственной логики (медиалогии). Медиа не только интегрируются в деятельность разных социальных институтов, системно влияя на содержание их деятельности и способы взаимодействия, но и сами выполняют функции важнейшего института, который активно участвует в производстве социальной реальности¹.

¹ См. подробнее о концептуализации понятий «медиатизация», «медиатизация культуры и общества», «медиатизация коммуникаций», «медиатизированное общество», «медиатизированные миры»: *Schulz W.* Reconstructing mediatization as an analytical concept // *European Journal of Communication.* 2004. No. 19 (1). P. 87–101; *Krotz F.* The meta-process of ‘Mediatization’ as a conceptual frame // *Global media and communication.* 2007. Vol. 3. Iss. 3. P. 256–260; *Mediatization: concept, changes, consequences / Ed. by K. Lundby.* N. Y.: Peter Lang, 2009; *Hjarvard S.* The mediatization of culture and society. N. Y.:

Повышенное внимание исследователей к теме медиатизации общества обусловило формирование в 2010-е гг. междисциплинарного направления *mediatization studies* с выработкой новых познавательных подходов, понятийного аппарата, техник анализа мультимодальных текстов в цифровых контекстах². В рамках этого направления публикуются монографии и научные статьи, проводятся научные конференции, семинары, выпускаются специализированные журналы³.

Критическое осмысление учеными процессов, происходящих в цифровом медиатизированном обществе, открывает возможности для дальнейшего обновления объяснительного аппарата социокультурных исследований и расширения проблемных полей. В 2010-е гг. все большее внимание ученых привлекает изучение роли глобальных медийных цифровых платформ в социально-политическом и экономическом управлении, их воздействия на социальные коммуникации, публичную и частную сферы жизни общества. Это обуславливает разработку нового ключевого понятия «платформенное общество», стимулирует формирование одноименных концепций и междисциплинарного направления *platform studies* в социокультурных исследованиях⁴.

Цель статьи состоит в том, чтобы выявить проблемные узлы в теоретической разработке концепций «платформенного общества», обсудив несколько взаимосвязанных вопросов. В их числе: содержание понятия «платформенное общество», идея «платформенного» управления медиаконтентом и социальным общением, роль цифровых платформ в формировании новой социальности.

Routledge, 2013. 192 p.; *Couldry N., Hepp A.* Conceptualizing mediatization: contexts, traditions, arguments // *Communication theory*. 2013. Vol. 23 (3). P. 191–202; *Hepp A.* Cultures of mediatization, trans. K. Tribe. Malden, MA: Polity, 2013. 180 p.; *Mediatized worlds. Culture and society in a media age* / Ed. by A. Hepp, F. Krotz. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 332 p.; *Ampuja M., Koivisto J., Väliöronen E.* Strong and weak forms of mediatization theory. A critical review // *Nordicom Review*. 2014. Vol. 35. Special Issue. P. 1–12; *Livingstone S., Lunt P.* Mediatization: an emerging paradigm for media and communication studies *Mediatization of communication. Handbooks of Communication Science (21)* / Ed. by K. Lundby. Berlin: De Gruyter Mouton, 2014. P. 703–724.

² См. подробнее об этом: *Figueiras R.* Mediatization studies: causalities, centralities, interdisciplinarity // *MATRIZES, São Paulo – Brasil*. 2017. Vol. 11. № 1. P. 101–126; *Wojtkowski L.* The present tense of mediatization studies // *Mediatizations Studies*. 2017. Vol. 1. No. 1. P. 9–22.

³ С 2017 г. в Польше (г. Люблин) издается научный журнал *Mediatization Studies* (<http://mediatization.umcs.pl>).

⁴ См. подробнее о формировании и трансформации направления “platform studies”: *Bogost I., Montfort N.* Platform studies: frequently asked questions / *Proceedings of digital arts and culture 2009*. University of California [Электронный ресурс]. Irvine, 2009. URL: <http://escholarship.org/uc/item/01r0k9br.pdf>; *Leorke D.* Rebranding the platform: the limitations of ‘Platform Studies’ // *Digital culture and education*. 2012. No. 4. P. 257–268; *Apperley Th., Parikka J.* Platform studies epistemic threshold // *Games and Culture*. 2018. Vol. 13. Iss. 4. P. 349–369; *Plantin J.-Ch., Lagoze C., Edwards P.N., Sandvig Ch.* Infrastructure studies meet Platform Studies in the age of Google and Facebook // *New Media and Society*. 2018. Vol. 20. Iss. 1. P. 293–310.

Понятие «платформенное общество»

Термин «платформа» был перенесен в сферу социально-гуманитарного знания из научной литературы по информационным технологиям, где он используется в связи с характеристикой операционных систем. В последние годы он превратился в синоним всех видов цифровых услуг на основе данных. В настоящее время под платформами подразумеваются сайты и сервисы, которые размещают различные публичные высказывания, образующие пользовательский контент, хранят его, обслуживают из облака, организуют доступ к нему через поиск и рекомендации, устанавливают его на мобильные устройства. Понятие «цифровая платформа» обычно соотносится с деятельностью коммерческих субъектов, управляющих большими данными в сетевом информационном пространстве. Разные платформы объединяет то, что хотя они сами не производят пользовательский контент, но организуют его для публичного распространения в цифровой среде. Их стратегия заключается в том, чтобы соединять покупателей и продавцов данных с помощью интернет-технологий, хранить и вести учет полученных данных с использованием интернет-инфраструктуры. Цифровые платформы определяют, какой контент они будут распространять и для кого, каким образом пользователи смогут подключаться к контенту, как они будут взаимодействовать друг с другом [1,2,3].

Т. Гиллеспи [1,2], Й. ван Дейк [4], Ж.-Кр. Плантен [5,6] и ряд других исследователей характеризуют медиаплатформы как мега-корпорации и инфраструктуры, которые образуют гигантские информационно-технологические и коммуникационные пространства и воздействуют на все сферы современной жизни. Потребление обществом платформенных цифровых технологий и их продуктов оказывает мощное влияние на внутреннюю и внешнюю политику, государственное управление, экономику, социальные практики, образование, общественные ценности. Это дает исследователям основание утверждать, что к современному обществу вполне применимо название «платформенное».

В современной научной литературе о «платформенном обществе» складывается определенная типология платформ социальных сетей [2,4]. Основной тип – это так называемые сайты социальных сетей (SNS). Они способствуют установлению и развитию контактов между отдельными лицами или группами, организуя личные, профессиональные и пространственные связи. Примерами могут служить Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ и Foursquare. Второй тип – сайты для пользовательского контента (UGC). Их функция – стимулировать разные формы социокультурной деятельности, способствовать обмену любительским или профессиональным контентом, поддерживать сетевую креативность. Наиболее известными сайтами UGC являются YouTube, Flickr, Myspace, GarageBand и Wikipedia. К этой группе исследователи относят также категорию торговых и маркетинговых сайтов (TMS), которые в основном предназначены для обмена продуктами или их продажи: Amazon, eBay, Groupon и Craigslist. Еще один тип – это игровые сайты (PGS) с популярными видеоиграми. Такая классификация платформ социальных сетей далеко не

исчерпывающая. Она требует дальнейшего уточнения и дополнения, поскольку сами платформы претерпевают постоянные изменения.

Платформы социальных сетей – это подвижные объекты, которые умеют настраиваться и перенастраиваться в соответствии с меняющимися потребностями их пользователей и с обновляемыми задачами, которые ставят их владельцы. Динамизм и трансформация платформ, постоянная модернизация их технологических и экономических инфраструктур связаны также с необходимостью отвечать на конкурентные вызовы, происходящие в сетевом информационном пространстве. Специфика размещения пользовательского контента, условия вовлечения, участия и соучастия разных акторов в его производстве, различные способы и формы коммуникаций – все это связано с особенностями внутреннего строения той или иной платформы социальных сетей, спецификой ее менеджмента и приоритетных моделей бизнеса [4]. Осуществляя модерацию медиаконтента, платформы оказывают огромное воздействие на способы производства знаний, создают настройки участия пользователей в социальных коммуникациях и порождают определенные виды публичного дискурса. Таким образом, культура общества в значительной степени становится продуктом их дизайна и контроля.

Управление медиаконтентом и социальным общением на платформах социальных сетей

Цифровые платформы берут на себя ответственность за медиаконтент, порядок общения пользователей и предоставляют обществу множество эффективных способов социально-культурной организации. При этом они реализуют важные элементы технократического контроля [7]. Это делается из необходимости соответствовать юридическим требованиям, а также для того, чтобы удерживать у себя различные группы пользователей и рекламодателей. Владельцы и менеджеры платформ заботятся о защите корпоративного имиджа и соблюдении своей личной и институциональной этики. Нормативно-правовая база, которую должны соблюдать медиаплатформы, и способы, которыми платформы вводят эти обязательства и накладывают их на своих пользователей, становятся регулирующими параметрами публичной коммуникации в сети.

Платформы не только служат пространством для социальных взаимодействий различных акторов, но и сами формируют определенные действия на основе ряда факторов. К таким факторам относятся: открытые и скрытые цифровые алгоритмы, встроенные в дизайн платформ; условия доступа к сервисам платформ; данные, которые создаются, продвигаются и потребляются на платформах [8,3]. Как подчеркивают Дж. Андерсон Шварц и Ст. Ларсон [3 с. 130–131], одним из ключевых условий работы цифровых платформ является решение задачи, каким образом социальные действия на платформенном пространстве должны быть адаптированы к компьютерному коду. Иначе говоря, платформы представляют собой

не просто программные носители. Они управляют сложными технологическими процессами, которые вынуждают пользователей подстраивать свои действия к заданным кодовым системам и шаблонам, и при этом они стремятся извлекать экономическую выгоду из такого социального поведения. Таким образом, цифровые медиаплатформы преобразуют сети социальных обменов в материальную инфраструктуру.

Исследователи обращают особое внимание на роль цифровых алгоритмов в управлении социально-культурными процессами на медиаплатформах. В междисциплинарном социогуманитарном знании уже образовался большой массив текстов (монографий и статей), авторы которых изучают цифровые алгоритмы из социокультурной перспективы⁵. В современных научных коммуникациях активно используется понятие «алгоритмический поворот», обозначающий включение в методологический инструментарий изучения «платформенного общества» нового (цифрового алгоритмического) измерения. В исследовательский лексикон вошло также понятие «алгоритмическая культура», которое применяется в качестве полезной категории анализа социокультурной деятельности цифровых платформ⁶.

Обсуждая направления воздействия цифровых алгоритмов на медиатизированное общество, Т. Гиллеспи отмечает [8], что в настоящее время «алгоритмы рекомендаций» играют все более важную роль в соци-

⁵ Подробнее о направлениях и проблематике изучения цифровых алгоритмов с социокультурных позиций см.: *Cheney-Lippold J.* A new algorithmic identity: soft biopolitics and the modulation of control // *Theory, Culture and Society*. 2011. No. 28 (6). P. 164–181; *Gillespie T.* The Relevance of Algorithms // *Media technologies: essays on communication, materiality, and society* / Ed. by T. Gillespie, P. Boczkowski, K. Foot. Cambridge, MA: MIT Press, 2014. P. 167–194; *Zietwitz M.* Governing algorithms: myth, mess, and methods // *Science, Technology and Human Values*. 2016. Vol. 4 (1). P. 3–16; *Algorithmic cultures: essays on meaning, performance and new technologies* / Ed. by R. Seyfert, J. Roberge. L.: Routledge, 2016. 192 p.; *Bucher T.* The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms // *Information, Communication and Society*. 2017. Vol. 20. Iss. 1. P. 30–44; *Neyland D., Möllers N.* Algorithmic IF..THEN rules and the conditions and consequences of power // *Information, Communication and Society*. 2017. Vol. 20. Iss. 1. P. 45–62; *Neyland D.* The everyday life of an algorithm. Palgrave Macmillan. 2019. 151 p.

⁶ О содержании и эвристическом потенциале понятий «алгоритмический поворот» и «алгоритмическая культура» см.: *Uricchio W.* The algorithmic turn: photosynth, augmented reality and the changing implications of the image // *Visual Studies*. 2011. No. 26 (1). P. 25–35; *Galloway A.R.* Gaming: essays on algorithmic culture. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 2006. 160 p.; *Striphas T.* Algorithmic culture // *European Journal of Cultural Studies*. 2015. Vol. 18 (4–5). P. 395–412; *Roberge J., Seyfert R.* What are algorithmic cultures? // *Algorithmic cultures: essays on meaning, performance and new technologies* / Ed. by R. Seyfert, J. Roberge. L.: Routledge, 2016. P. 1–25; *Gillespie T.* #trendingstrending: when algorithms become culture // *Algorithmic cultures: essays on meaning, performance and new technologies* / Ed. by R. Seyfert, J. Roberge. L.: Routledge, 2016. P. 52–75; *Seaver N.* Algorithms as culture: some tactics for the ethnography of algorithmic systems // *Big Data and Society*. 2017. July–December. Vol. 4 (2). P. 1–12.

альном и личностном выборе информации, которая считается наиболее актуальной и важной. Они управляют человеческими взаимодействиями на сайтах социальных сетей, выделяя одни новости, явления, процессы прошлого или настоящего и исключая другие из повестки дня. Алгоритмы не только помогают пользователям находить информацию, но и дают возможность узнать, *что* нужно знать и *как* об этом знать, формируют публичные дискуссии.

В медиатизированном обществе цифровой алгоритм становится ключевой процедурой, которая управляет потоками и значимостью информации и способами ее восприятия пользователями. Алгоритмический отбор, обработка и оценка информации создают условия для производства и сертификации разных видов социального знания и дискурса на цифровых медиаплатформах, производят разделяемые культурные значения в сетевых коммуникациях [9,10].

Роль цифровых платформ в формировании новой социальности

Цифровые алгоритмы как протоколы социального действия на медиаплатформах формируют новый культурный опыт людей. Пользователи как акторы в контексте социальных сетей – это сложная и многогранная система. Они являются получателями и потребителями информации, производителями и участниками социокультурных процессов; среди них есть любители и профессионалы. Обсуждая специфику социального общения на платформах, Д. Биер [11], Т. Бачер [12,13] и другие исследователи замечают, что корпоративные социальные сети лишь на первый взгляд кажутся понятными, выглядят «открытой книгой». В меняющихся интерфейсах вначале можно заметить только сопряжение и пересечение множества коммуникативных актов: от тесного общения и обмена данными до возникновения новых глобальных социальных сфер. Однако эта видимая прозрачность коммуникаций является поверхностной. Важно исследовать то, как такие акты социального общения оказываются технологически включенными и закодированными в медиаобъектах, каким образом они оформляются для того, чтобы распространяться и продвигаться на платформах. Для этого исследователи предлагают сместить внимание от того, *что говорится* (размещено, прокомментировано), на то, *как оно обрабатывается и как отображается*. При этом социальное общение стоит рассматривать не только как обмен совокупностью знаков, значений или как дискурс. Необходимо изучать видео, посты, изображения, ссылки и другие акты коммуникации на платформах социальных медиа как места сбора, хранения и обработки данных. Так, исследователи вводят понятие «цифровой объект» в концепции платформенного общества [14–16].

Г. Ланглуа и Г. Элмер [14] характеризуют цифровые объекты как базовые элементы на платформах социальных медиа, представляющие собой результаты невидимой обработки данных (к примеру, любой пост и кнопка «нравится» в Facebook или видео и комментарий на YouTube яв-

ляется цифровым объектом, как любой другой вид текста). При изучении цифровых объектов предметом исследовательского внимания являются не только текстовые мультимедийные компоненты, присутствующие в пользовательском интерфейсе, но и все программные элементы, которые делают текстовые элементы видимыми, – от специфики форматирования до алгоритмов ранжирования.

Г. Ланглуа и Г. Элмер [14 р. 11–13] выделяют в цифровом объекте несколько характерных черт – слоев. Его можно рассматривать как *медиаобъект*, т. е. он обладает определенным содержанием формы и мультимедийной эстетикой и складывается в определенный семантический слой. Вместе с тем цифровой объект является еще и *сетевым объектом*, поскольку соединяет в себе различные виды информационных сетей (к примеру, кнопка «мне нравится» на Facebook соединяет Facebook-сеть пользователя с другими цифровыми объектами и сетями). Иначе говоря, цифровой объект действует как интерфейс, который позволяет осуществлять информационное соединение на разных уровнях. Наконец, цифровой объект – это также *фатический объект*, который позволяет пользователю демонстрировать конкретные виды своего присутствия, выстраивать отношения в сети, устанавливать и поддерживать связи в коммуникативной среде. Таким образом, цифровой объект понимается как густок плотных, многослойных данных и одновременно как место и условие совершения коммуникативного акта. Важно отметить, что в процессе общения пользователей посредством цифровых объектов происходит технологическая запись не только того, что говорится, но, в более широком смысле, фиксация и запись акта самого общения. На платформах социальных медиа записываются детали различных аспектов коммуникативного акта. Записывается не только то, что сказано, но и специфическая информация о профиле пользователя, отправляющего сообщение, а также то, каким образом пользователи взаимодействуют с сообщением. Такая концепция цифрового объекта обогащает и усложняет понимание процессов и форм социального общения на платформах. Изучение слоев данных цифрового объекта позволяет выявлять то, как реализуется технологическая, медийная и корпоративная логика и, таким образом, выявлять скрытые формы власти, осуществляемой платформами социальных сетей.

Как отмечают исследователи [17,4], цифровые платформы организуют бóльшую часть того социального взаимодействия, которое воспринимается обществом как культура участия (партиципаторная культура). Они позволяют пользователям публиковать сообщения и общаться друг с другом и одновременно стремятся форматировать, кодировать и диагностировать само социальное общение. Такая деятельность цифровых платформ может принимать различные формы: от создания технологических инструментов, которые облегчают общение пользователей, до разработки целевой рекламы и персонализированного рейтинга информации по определенной логике.

Рассматривая содержание и формы социальных процессов на цифровых платформах, Й. ван Дейк [18] подчеркивает, что платформы способны менять саму природу социальности. Идеи, ценности и вкусы людей

распространяются через социальные сети, но сами эти сети как автоматизированные системы в огромной степени влияют на то, что люди делают и думают. Многие привычки, которые прежде казались неформальными проявлениями социальной жизни, проникают на цифровые медиаплатформы и закрепляются на них. Платформы отслеживают человеческие желания, кодируя отношения между людьми, вещами и идеями в алгоритмы. Они проектируют социальные связи и манипулируют соединениями пользователей. Это позволяет платформам придавать повседневным рутинным практикам людей форму социальности. Социальные действия переводятся в алгоритмические концепции. Как замечает Й. ван Дейк, то общение на платформах, которое обычно называют «социальным», на самом деле представляет собой сложный результат человеческой деятельности, сформированной с помощью компьютерной продукции, – деятельности социотехнического ансамбля, компоненты которого трудно различить. Нормы и ценности, поддерживающие «социальный» образ цифровых медиа, остаются скрытыми в технологических структурах платформ.

Таким образом, в современных концепциях «платформенного общества» развивается важная идея о том, что цифровые платформы социальных сетей представляют собой не только сложные социально-технические комплексы, но и мощные социальные институты. Они выступают в роли своеобразных регуляторов, которые организуют и определяют социальную жизнь не только в онлайн-, но и офлайн-средах, изменяют характер частного и публичного общения, качественно влияют на социальное поведение и практики обыденной жизни.

Литература

1. Gillespie T. The politics of “Platforms” // *New Media and Society*. 2010. Vol. 12 (3). P. 347–364.
2. Gillespie T. Custodians of the Internet. Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. Yale University Press: New Haven, CT, 2018. 304 p.
3. Andersson Schwarz J., Larsson S. A Platform Society // *Developing platform economies: a European policy landscape* / Ed. by S. Larsson, J. Andersson Schwarz. Brussels; Stockholm: European Liberal Forum asbl., 2018. P. 114–140.
4. Van Dijck J., Poell Th., De Waal M. The Platform Society: public values in a Connected World. New York: Oxford University Press, 2018. 240 p.
5. Plantin J.-Chr. Review essay: how platforms shape public values and public discourse // *Media, Culture and Society*. 2019. Vol. 41. Iss. 2. P. 252–257.
6. Plantin J.-Chr., Punathambekar A. Digital Media infrastructures: pipes, platforms, and politics // *Media, Culture and Society*. 2019. Vol. 41. Iss. 2. P. 163–174.
7. Gillespie T. Regulation of and by Platforms // *The SAGE Handbook of Social Media* / Ed. by J. Burgess, A. Marwick, Th. Poell. SAGE Publications Ltd, 2018. P. 254–278.
8. Gillespie T. Algorithm // *Digital keywords: a vocabulary of information society and culture* / Ed. by B. Peters. Princeton University Press, 2016. P. 18–30.

9. Striphas T. Algorithmic culture // *European Journal of Cultural Studies*. 2015. Vol. 18 (4–5). P. 395–412.
10. Gillespie T. #trendingistrending: when algorithms become culture / *Algorithmic cultures: essays on meaning, performance and new technologies* / Ed. by R. Seyfert, J. Roberge. L.: Routledge, 2016. P. 52–75.
11. Beer D. Power through the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious // *New Media and Society*. 2009. Vol. 11 (6). P. 985–1002.
12. Bucher T. Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on facebook // *New Media and Society*. 2012. Vol. 14. Iss. 7. P. 1164–1180.
13. Bucher T. Networking, or What the social means in social media // *Social Media and Society*. 2015. April-June. P. 1–2.
14. Langlois G., Elmer G. The research politics of social media platforms // *Culture Machine*. 2013. Vol. 14. P. 1–17.
15. Hui Yu. On the existence of digital objects (electronic mediations). Univ of Minnesota Press, 2016. 332 p.
16. Digital objects, digital subjects: interdisciplinary perspectives on capitalism, labour and politics in the age of Big Data / Ed. by D. Chandler, Ch. Fuchs. L.: University of Westminster Press. 2019. 248 p.
17. Langlois G. Participatory culture and the new governance of communication: the paradox of participatory media // *Television and New Media*. 2013. Vol. 14. Iss. 2. P. 91–105.
18. Van Dijk J. The culture of connectivity a critical history of social media. Oxford: Oxford University Press, 2013. 240 p.

References

1. Gillespie T. The politics of “Platforms”. *New Media and Society*. 2010;3:347-64.
2. Gillespie T. *Custodians of the Internet. Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press: New Haven, CT, 2018. 304 p.
3. Andersson Schwarz J., Larsson S. A Platform Society. V: Larsson S., Andersson Schwarz J., eds. *Developing platform economies: a European policy landscape*. Brussels; Stockholm: European Liberal Forum asbl., 2018. P. 114-40.
4. Van Dijk J., Poell Th., De Waal M. *The Platform Society: public values in a Connective World*. New York: Oxford University Press, 2018. 240 p.
5. Plantin J.-Chr. *Review essay: how platforms shape public values and public discourse*. *Media, Culture and Society*. 2019;2:252-57.
6. Plantin J.-Chr., Punathambekar A. Digital Media infrastructures: pipes, platforms, and politics. *Media, Culture and Society*. 2019;2:163-74.
7. Gillespie T. Regulation of and by Platforms. V: Burgess J., Marwick A., Poell Th., eds. *The SAGE handbook of social media*. SAGE Publications Ltd, 2018. P. 254-78.
8. Gillespie T. Algorithm. V: Peters B., ed. *Digital keywords: a vocabulary of information society and culture*. Princeton University Press, 2016. P. 18-30.
9. Striphas T. Algorithmic culture. *European Journal of Cultural Studies*. 2015; 4-5:395-412.
10. Gillespie T. #trendingistrending: when algorithms become culture. V: Seyfert R., Roberge J., eds. *Algorithmic cultures: essays on meaning, performance and new technologies*. London: Routledge, 2016. P. 52-75.

11. Beer D. Power through the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious. *New Media and Society*. 2009;6:985-1002.
12. Bucher T. Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on facebook. *New Media and Society*. 2012;7:1164-180.
13. Bucher T. Networking, or What the social means in social media. *Social Media and Society*. 2015;April-June:1-2.
14. Langlois G., Elmer G. The research politics of social media platforms. *Culture Machine*. 2013;14:1-17.
15. Hui Yu. On the existence of digital objects (electronic mediations). Univ of Minnesota Press, 2016. 332 p.
16. Chandler D., Fuchs Ch., eds. *Digital objects, digital subjects: interdisciplinary perspectives on capitalism, labour and politics in the age of Big Data*. London: University of Westminster Press, 2019. 248 p.
17. Langlois G. Participatory culture and the new governance of communication: the paradox of participatory media. *Television and New Media*. 2013;2:91-105.
18. Van Dijk J. *The culture of connectivity a critical history of social media*. Oxford: Oxford University Press, 2013. 240 p.

Информация об авторе

Галина И. Зверева, доктор исторических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; galazver@mail.ru

Information about the author

Galina I. Zvereva, Dr. of Sci. (History), professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; galazver@mail.ru

Дизайн обложки
Е.В. Амосова
Корректор
Н.К. Егорова
Компьютерная верстка
Е.Б. Рагузина

Подписано в печать 15.12.2019.
Формат 60×90¹/₁₆
Усл. печ. л. 10,7. Уч.-изд. л. 11,3.
Тираж 1050 экз. Заказ № 784

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
www.rggu.ru
www.knigirggu.ru